



*История англичанина елизаветинской
эпохи среди пиратов Берберии*

МОРСКОЙ ЯСТРЕБ

Рафаэль Сабатини

Рафаэль Сабатини

Морской ястреб

«Автор»

2026

Сабатини Р.

Морской ястреб / Р. Сабатини — «Автор», 2026

Англия, эпоха Елизаветы I. Сэр Оливер Трессилиан — отважный корнуоллский дворянин, снискавший славу на море и готовящийся к свадьбе с прекрасной Розамундой Годолфин. Его жизнь кажется безупречной, а будущее — безоблачным. Однако внезапная трагедия, ложное обвинение в преступлении и предательство тех, кому он доверял больше всего, в один миг рушат его счастье. Лишенный чести, дома и свободы, сэр Оливер проходит через горнило тяжелейших испытаний и перерождается в грозного предводителя пиратов — Морского Ястреба, наводящего ужас на все Средиземноморье. Но сумеет ли он заглушить в сердце тоску по родине и любовь к женщине, чье неверие ранило его больше любого клинка?

© Сабатини Р., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Заметка автора	5
Часть первая	7
Глава I	7
Глава II	13
Глава III	19
Глава IV	25
Глава V	31
Глава VI	37
Глава VII	45
Глава VIII	49
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Рафаэль Сабатини

Морской ястреб

Заметка автора

Лорд Генри Гоуд, лично знавший, как мы вскоре увидим, сэра Оливера Трессилиана, без обиняков заявляет, что тот был дурен собой. Впрочем, его светлость вообще был склонен к излишне суровым суждениям, да и восприятие его едва ли всегда отличалось беспристрастностью. Так, к примеру, об Анне Клевской он отозвался как о «самой уродливой женщине, какую мне доводилось видеть». Насколько можно судить по его собственным пространственным сочинениям, представляется крайне сомнительным, видел ли он Анну Клевскую вообще; здесь мы вправе заподозрить его лишь в рабском повторении расхожей молвы, приписывавшей падение Кромвеля безобразию невесты, которую тот сосватал венценосной Синей Бороде. Расхожей молве я все же предпочитаю свидетельство кисти Гольбейна, позволяющее нам составить собственное мнение и являющее даму, которая решительно не заслуживает столь беспощадного приговора его светлости.

Точно так же мне хочется верить, что лорд Генри заблуждался и в оценке внешности сэра Оливера, и в этой вере меня укрепляет словесный портрет, набросанный самим же лордом: «Он был высоким, могучим малым ладного сложения, если не считать того, что руки его были чересчур длинны, а ступни и кисти рук — неприглядно велики. Смуглолицый, с черными волосами и черной раздвоенной бородкой; нос его был крупным, с высокой горбинкой, а глубоко посаженные под нависшими бровями глаза — очень светлыми, жестокими и зловещими. Он обладал — а это, как я всегда замечал, служит признаком великой мужественности, — громким, глубоким и грубым голосом, более пригодным для шканцевой брани и сквернословия, к коим, без сомнения, он прибегал чаще, чем к восхвалению своего Создателя».

Таков лорд Генри Гоуд, и вы легко заметите, как застарелая неприязнь к этому человеку сквозит в самом его описании. По правде говоря — чему есть немало свидетельств в его многочисленных трудах, — его светлость был изрядным мизантропом. Именно мизантропия и подтолкнула его, как и многих других, к писательству. Он взялся за перо не столько ради заявленной цели составить хронику своего времени, сколько ради того, чтобы излить желчь, скопившуюся в нем после постигшей его опалы. Вследствие этого он едва ли находит доброе слово хоть для кого-нибудь и редко упоминает современников иначе как для того, чтобы дать волю живописному обличительному красноречию.

Впрочем, ему можно найти оправдание. Он был одновременно человеком мысли и человеком действия — сочетание столь же редкое, сколь обычно и прискорбное. Как человек действия он мог бы пойти далеко, если бы с самого начала все не погубил в нем человек мысли. Будучи великолепным моряком, он вполне мог стать лордом-верховным адмиралом Англии, если бы не известная склонность к интригам. К счастью для него — ибо в противном случае голова его вряд ли удержалась бы на плечах, — он вовремя попал под подозрение. Его карьера оборвалась; однако возникла необходимость предоставить ему некое возмещение, поскольку подтвердить подозрения доказательствами так и не удалось. Посему он был отстранен от командования флотом и милостью королевы назначен наместником Корнуолла — на этой должности, как рассудили при дворе, он не мог натворить особых бед.

Там, ожесточенный крушением своих честолюбивых надежд и ведя жизнь в относительно уединении, он обратился — как поступали многие на его месте — к утешению пером. Он создал свою на редкость путаную, ограниченную и поверхностную «Историю лорда Генри Гоуда: его собственное время» — истинный памятник небылицам, искажениям, кривотолкам

и причудливой орфографии. В восемнадцати огромных томах фолиантов, исписанных мелким готическим почерком, он излагает собственную версию истории своего, как он выражается, «падения». И, исчерпав эту тему, несмотря на всю свою многословность, в первых пяти томах из восемнадцати, он переходит к описанию тех событий своей эпохи, свидетелем которых стал во время корнуоллского затворничества.

Для целей английской истории его хроники совершенно бесполезны — именно поэтому они так и остались неизданными и преданными забвению. Но для исследователя, пытающегося проследить судьбу столь необыкновенного человека, как сэр Оливер Трессилиан, они поистине бесценны. И поскольку жизнеописание этого лица составляет мою нынешнюю задачу, мне надлежит здесь, в самом начале, признать мой глубочайший долг перед упомянутыми хрониками. Без них и впрямь было бы невозможно восстановить жизнь корнуоллского дворянина, ставшего вероотступником и берберийским корсаром, который вполне мог бы стать и пашой Алжира — или Аргира, как именует его светлость, — если бы не определенные обстоятельства, о которых пойдет речь ниже.

Лорд Генри писал со знанием дела и со знанием людей; повествование его весьма полно и изобилует драгоценными подробностями. Сам он был очевидцем многого из происшедшего; он поддерживал личные знакомства со многими лицами, связанными с делами сэра Оливера, дабы пополнять свои записи, и не считал ни единой деревенской сплетни чересчур ничтожной, чтобы пренебречь ею. Подозреваю также, что немалую помощь в описании событий, случившихся за пределами Англии и составляющих, на мой взгляд, наиболее увлекательную часть его хроники, ему оказал Джаспер Ли.

Р. С.

Часть первая

Сэр Оливер Трессилиан

Глава I

Торгаш

Сэр Оливер Трессилиан вольготно сидел в просторной столовой прекрасного поместья Пенарроу, коим он был обязан предприимчивости своего родителя, оставившего о себе память, достойную сожаления, а также мастерству и изобретательности итальянского инженера по фамилии Баньоло, прибывшего в Англию полвека назад в качестве одного из помощников знаменитого Торриджано.

Этот дом, обладавший столь поразительным и сугубо итальянским изяществом для столь глухого уголка Корнуолла, заслуживает, вместе с историей своего возведения, хотя бы беглого упоминания.

Итальянец Баньоло, соединявший в себе выдающиеся художественные дарования со сварливым и взрывным нравом, имел несчастье убить человека в пьяной драке в одной из сауторкских таверн. Спасаясь от последствий сего смертоубийства, он бежал из города и не останавливал своего стремительного бега до тех пор, пока не достиг самого края английской земли. При каких именно обстоятельствах он свел знакомство со старшим Трессилианом, мне неизвестно. Однако несомненно, что встреча эта оказалась весьма своевременной для обоих. Беглецу Ральф Трессилиан — питавший, по-видимому, неистребимую слабость к обществу мошенников всех мастей, — предоставил надежный кров; Баньоло же оплатил за услугу, предложив перестроить ветшающий фахверковый дом Пенарроу.

Взявшись за дело с пылом истинного художника, он создал для своего покровителя жилище, казавшееся чудом изящества в те грубые времена и в столь диком краю. Под надзором одаренного инженера, достойного сподвижника мессера Торриджано, поднялся благородный двухэтажный особняк из мягко рдеющего красного кирпича, залитый светом и солнцем благодаря огромным створчатым окнам с переплетами, вздымавшимся почти от самого цоколя до карниза каждого из украшенных пилястрами фасадов. Главный вход располагался в выступающем крыле и был осенен массивным балконом; венчал все это великолепный колонный фронтон необычайной красоты, ныне частично укутанный зеленым плащом плюща. Над обожженной черепицей кровли горделиво и величественно взмывали массивные витые дымоходы.

Но подлинной славой Пенарроу — то есть нового Пенарроу, рожденного плодовитым воображением Баньоло, — был сад, созданный на месте диких зарослей вокруг старого дома, венчавшего высоты над мысом Пенарроу. К трудам Баньоло Время и Природа добавили свои собственные. Баньоло проложил прекрасные эспланады, возвел благородные балюстрады, обрамлявшие три террасы с широкими соединительными лестницами; сам он спроектировал фонтан и собственноручно изваял гранитного фавна, венчавшего его, равно как и дюжину других статуй нимф и лесных божеств из беломраморного камня, ослепительно сиявших среди сумрачной зелени. Время же и Природа выровняли лужайки, превратив их в бархатный ковер, сгустили живые изгороди из самшита и устремили ввысь темные, подобные копьям тополя, довершившие итальянский облик этого корнуоллского поместья.

Сэр Оливер нежился в столовой, созерцая все это великолепие, развернувшееся перед ним в мягких лучах сентябрьского солнца, и находил, что зрелище это на редкость отраднo, а жизнь — прекрасна. Ни один человек на свете, как известно, не приходит к столь благодушному взгляду на мир без какой-либо непосредственной причины помимо окружающей обстановки.

новки. У сэра Оливера таких причин имелось несколько. Первой — хотя сам он едва ли отдавал себе в этом отчет — была счастливая совокупность молодости, богатства и отменного пищеварения; второй — то, что он стяжал славу и почет как на Испанском Мэйне, так и в недавнем разгроме Непобедимой армады (или, вернее сказать, в разгроме ныне покойной Непобедимой армады), а также удостоился на двадцать пятом году жизни рыцарского звания от самой Королевы-девственницы; третьим же и последним виновником его доброго расположения духа — я поберегу его напоследок, полагая сие место наиболее подобающим для самого важного обстоятельства, — был старина Купидон, на сей раз проявивший исключительное благодушие и устроивший дела так, что сватовство сэра Оливера к мистресс Розамунде Годолфин протекало на редкость гладко и счастливо.

Итак, сэр Оливер вольготно сидел в высоком резном кресле, в расстегнутом дублете, вытянув длинные ноги; задумчивая улыбка играла на его твердых губах, еще не знавших иной растительности, кроме тонкой черной полоски усов (этот словесный портрет был набросан лордом Генри значительно позже). Был полдень; наш джентльмен только что отобедал, о чем свидетельствовали блюда, остатки яств и полупустой кувшин на столе подле него. Он задумчиво потягивал длинную трубку — ибо успел перенять новомодную привычку к курению табака — и предавался грезам о своей даме сердца, с благородной и искренней признательностью благодаря судьбу за то, что та обошлась с ним столь щедро, позволив бросить к ногам Розамунды дворянский титул и толику воинской славы.

По натуре своей сэр Оливер был проницательным малым («хитер, как двадцать чертей», — по выражению милорда Генри), да и в учености отнюдь не знал недостатка. Однако ни природный ум, ни приобретенные познания, похоже, не научили его тому, что из всех богов, правящих людскими судьбами, нет никого более коварного и насмешливого, нежели тот самый озорник Купидон, в чью честь он воскурял сейчас фимиам из своей трубки. Древние прекрасно знали, что за личиной невинного юноши скрывается жестокий и лукавый плут, и не доверяли ему. Сэр Оливер то ли не знал этой крупницы древней мудрости, то ли не придавал ей значения. Ему предстояло постичь ее на собственном горьком опыте; и едва его светлые задумчивые глаза улыбнулись солнечному свету, заливавшему террасу за высоким створчатым окном, как на плиты легла тень — предвестие той тени, что уже застирала солнце всей его жизни.

Вслед за тенью явилась и сама плоть: высокий щеголь в ярком наряде под широкой черной испанской шляпой, украшенной кроваво-красными перьями. Помахивая длинной тростью с лентами, фигура проследовала мимо окон, ступая размеренно и неумолимо, точно сама Судьба.

Улыбка сошла с губ сэра Оливера. Смуглое лицо его посуровело, черные брови сошлись на переносице так плотно, что между ними залегла глубокая складка. Затем улыбка медленно вернулась, но это была уже не прежняя кроткая и мечтательная усмешка. Она переродилась в улыбку решимости и непреклонности — улыбку, сжавшую губы, в то время как брови разгладились, и зажегшую в его пристальном взоре насмешливый, лукавый и почти недобрый огонек.

Вошел Николас, слуга, чтобы доложить о приходе мастера Питера Годолфина, а следом за лакеем появился и сам мастер Годолфин, опираясь на украшенную лентами трость и держа в руке широкую испанскую шляпу. Это был высокий, стройный джентльмен с гладко выбритым красивым лицом, отмеченным печатью высокомерия; как и сэр Оливер, он обладал дерзким носом с высокой горбинкой, а возрастом был моложе хозяина года на два или на три. Свои каштановые волосы он носил несколько длиннее, чем требовала тогдашняя мода, однако в его платье не было большего щегольства, чем простительно джентльмену его лет.

Сэр Оливер поднялся и, выпрямившись во весь свой огромный рост, отвесил приветственный поклон. Но клубы табачного дыма ударили изящному гостю в горло, заставив его закашляться и скривиться.

— Я вижу, — прохрипел он, — вы усвоили эту омерзительную привычку.

— Мне случалось знать привычки и похуже, — невозмутимо отозвался сэр Оливер.

— Ничуть в том не сомневаюсь, — парировал мастер Годолфин, с самого начала давая понять свое настроение и цель визита.

Сэр Оливер удержался от ответа, который лишь помог бы гостю достичь своей цели, что вовсе не входило в намерения рыцаря.

— Посему, — произнес он с иронией, — надеюсь, вы проявите снисходительность к моим недостаткам. Ник, кресло для мастера Годолфина и еще один кубок. Добро пожаловать в Пенарроу.

На бледном лице юноши мелькнула презрительная усмешка:

— Вы расточаете мне любезности, сэр, но боюсь, я не смогу ответить вам взаимностью.

— Будет еще время ответить, когда я сам приду к вам с просьбой, — с непринужденным, пусть и наигранным благодушием отозвался сэр Оливер.

— С какой просьбой?

— Оказать мне гостеприимство в вашем доме, — пояснил сэр Оливер.

— Именно по этому делу я и пришел к вам.

— Не угодно ли присесть? — предложил сэр Оливер, указав рукой на кресло, поставленное Николасом. Тем же жестом он отпустил слугу.

Мастер Годолфин проигнорировал приглашение.

— Вы, как мне стало известно, изволили быть в Годолфин-Корте вчера, — произнес он. Он выдержал паузу и, видя, что сэр Оливер не отпирается, сухо добавил: — Я прибыл сюда, сэр, дабы уведомить вас: от чести ваших посещений мы с радостью избавимся.

Стремясь сохранить самообладание перед лицом столь прямого оскорбления, сэр Оливер слегка побледнел под слоем загара.

— Вы должны понимать, Питер, — медленно произнес он, — что сказали либо слишком много, либо слишком мало. — Он помолчал, разглядывая гостя. — Не знаю, говорила ли вам Розамунда, но вчера она сделала мне честь, согласившись стать моей женой...

— Она еще дитя и сама не знает, чего хочет, — оборвал его юноша.

— Известна ли вам хоть одна веская причина, по которой она могла бы передумать? — с легким вызовом спросил сэр Оливер.

Мастер Годолфин сел, закинул ногу на ногу и положил шляпу на колени.

— Мне известна дюжина причин, — ответил он. — Но нужды приводить их нет. Довольно будет напомнить вам, что Розамунде всего семнадцать и что она находится под моим опекуномством и опекуномством сэра Джона Киллигру. Ни сэр Джон, ни я не дадим согласия на этот брак.

— Силы небесные! — вскричал сэр Оливер. — Да кто вообще просит вашего или сэра Джона согласия? Милостью Божьей ваша сестра вскоре станет взрослой женщиной и сама себе хозяйкой. Я вовсе не горю отчаянной спешкой поскорее обвенчаться, а по натуре своей — как вы изволите наблюдать — я человек на редкость терпеливый. Я вполне могу и подождать. — И он затыкнулся трубкой.

— Ожидание вам ничем не поможет, сэр Оливер. Лучше уясните это сразу. Мы с сэром Джоном приняли твердое решение.

— Вот как? Клянусь светом Господним! Пришлите ко мне сэра Джона с вестью о его решениях, и уж я поведаю ему кое-что о своих. Передайте ему от меня, мастер Годолфин: коли он соблаговолит дотащиться до Пенарроу, я сделаю с ним то, что палачу следовало сделать давным-давно. Клянусь своей рукой, я отрежу уши этому паскуднику!

— А пока, — язвительно поддел мастер Годолфин, — не желаете ли испробовать вашу корсарскую доблесть на мне?

— На вас? — переспросил сэр Оливер и с добродушным презрением смерил его взглядом. — Я не палач для желторотых птенцов, мой мальчик. К тому же вы брат своей сестры, а в

мои намерения вовсе не входит умножать преграды на моем пути. — Затем голос его переменялся. Он подался через стол: — Полноте, Питер. В чем истинный корень всей этой распри? Неужели мы не можем уладить разногласия, кои вам мерещатся? Выкладывайте начистоту. До сэра Джона мне дела нет. Он старый брюзга, не стоящий и шелчка пальцев. Но вы — дело другое. Вы ее брат. Говорите же ваши обиды. Давайте потолкуем откровенно и по-дружески.

— По-дружески? — Юноша вновь скривил губы. — Наши отцы подали нам в этом превосходный пример.

— Какая разница, что творили наши отцы? Тем больший им позор, если они, будучи соседями, не сумели жить в мире. Неужто мы должны следовать столь плачевному примеру?

— Вы не посмеете утверждать, будто вина лежала на *моем* отце! — вскинулся юноша с неприкрытой яростью.

— Я никого ни в чем не виню, парень. Я лишь говорю, что стыд и срам обоим.

— Клянусь ранами Господними! — вскричал мастер Питер. — Вы смеете чернить покойников?

— Если я и черню их, то обоих сразу. Но я этого не делаю. Я лишь осуждаю грех, в коем они оба повинились бы, доведись им восстать из гроба.

— В таком случае, сэр, извольте ограничить свои порицания собственным родителем, с которым ни один благородный человек не мог ужиться в мире...

— Потихе, потихе, почтенный сэр...

— Незачем сбавлять тон! Ральф Трессилиан был позором и бесчестьем для всей округи. Отсюда до Труро и отсюда до Хелстона нет ни единой деревушки, где бы не кишели сопляки с большими носами Трессилианов, точь-в-точь как у вас, — живые памятники вашему распутному папаше!

Глаза сэра Оливера сузились; он усмехнулся:

— Любопытно, а от кого же вам достался ваш собственный нос?

Мастер Годолфин в бешенстве вскочил на ноги; кресло за его спиной с грохотом опрокинулось.

— Сэр! — вскричал он, задыхаясь от гнева. — Вы оскорбляете память моей матери!

Сэр Оливер рассмеялся:

— Быть может, я позволил себе легкую вольность — но лишь в ответ на ваши любезности касательно моего отца.

Мастер Годолфин замер, не в силах вымолвить ни слова от ярости, а затем, поддавшись слепому порыву, перегнулся через стол, взмахнул длинной тростью и с силой ударил сэра Оливера по плечу.

Совершив сие, он с гордым величием зашагал к дверям. На полпути он остановился и обернулся:

— Я буду ждать ваших секундантов и длину вашего клинка, сэр.

Сэр Оливер снова рассмеялся:

— Не думаю, что стану утруждать себя их отправкой.

Мастер Годолфин круто развернулся к нему:

— Как? Вы стерпите удар?

Сэр Оливер пожал плечами:

— Никто не видел, как он был нанесен.

— Но я ославлю на всю округу, что отстегал вас тростью!

— Этим вы лишь выставите себя лжецом, ибо вам никто не поверит. — Тут он снова переменял тон: — Полно, Питер, мы ведем себя недостойно. Что до удара, признаю: я сам его заслужил. Память матери для мужчины священнее памяти отца. Так что будем считать, что мы в расчете. Не пора ли нам поквитаться и во всем остальном? Какой нам прок раздувать глупую ссору, вспыхнувшую когда-то между нашими отцами?

— Между нами стоит нечто большее, — отрезал мастер Годолфин. — Я не позволю сестре выйти за пирата.

— За пирата? Силы небесные! Радуйтесь, что нас никто не слышит, ибо с тех пор, как Ее Величество пожаловала мне рыцарский сан за мои деяния на море, подобные речи пахнут государственной изменой. Право же, юноша, то, что одобряет королева, может одобрить и мастер Питер Годолфин, и даже ваш наставник сэр Джон Киллигру. Вы ведь наслушались его речей, не так ли? Это он подослал вас сюда.

— Я ни у кого не служу прихвостнем! — горячо возразил юноша, оскорбленный этим намеком — и уязвленный тем сильнее, что в нем крылась чистая правда.

— Называть меня пиратом — сущая глупость. Хокинс, под чьим началом я ходил, тоже удостоен рыцарского звания, и всякий, кто клеймит нас пиратами, наносит оскорбление самой королеве. Если же отбросить это вздорное обвинение, что еще вы имеете против меня? Родом я, уповаю, не хуже любого другого дворянина здесь, в Корнуолле; Розамунда дарит меня своей благосклонностью, я богат и стану еще богаче, прежде чем зазвонят свадебные колокола.

— Богат награбленным в морских разбоях! Богат сокровищами с затопленных кораблей и деньгами за невольников, захваченных в Африке и проданных на плантации! Богат, как упырь, насосавшийся крови мертвецов!

— Это слова сэра Джона? — тихо и зловеще спросил сэр Оливер.

— Это говорю я!

— Я слышу; но мне любопытно, где вы вызубрили этот премилый урок. Сэр Джон ваш учитель? Он самый, можете не отвечать. С ним я еще посчитаюсь. А пока позвольте мне открыть вам чистый и бескорыстный источник желчи сэра Джона. Вы увидите, сколь «честен» и «благороден» сэр Джон, друг вашего покойного батюшки и ваш бывший опекун.

— Я не стану слушать ваши наветы на него!

— Нет уж, вы выслушаете — в отместку за то, что заставили меня выслушать его наветы на меня. Сэр Джон вознамерился получить королевскую лицензию на строительство в устье Фала. Он спит и видит, как над гаванью, под сенью его собственного поместья Арвенак, вырастет новый город. Он выставляет себя благородным радетелем, пекущимся исключительно о процветании края, но забывает упомянуть, что земля эта принадлежит ему и что радует он единственно о собственном кармане и обогащении своего семейства.

По счастливой случайности мы столкнулись в Лондоне, когда сэр Джон хлопотал об этом деле при дворе. Так уж вышло, что у меня тоже имеются торговые интересы в Труро и Пенрине; однако, в отличие от сэра Джона, я говорю об этом прямо и открыто. Если бы вокруг Смитика началось строительство, то в силу его более выгодного расположения Труро и Пенрин неизбежно пришли бы в упадок, а это устраивает меня ничуть не больше, чем крушение его планов устраивало сэра Джона. Я заявил ему об этом в лицо, ибо привык говорить напрямик, и обратился к королеве со встречным прошением. — Он пожал плечами. — Момент оказался для меня благоприятным. Я был одним из тех моряков, что сокрушили Непобедимую армаду короля Филиппа. Мне отказать не посмели, и сэр Джон вернулся из Лондона несолоно хлебавши.

Удивляетесь ли вы теперь, что он люто меня ненавидит? Зная его истинную натуру, удивляетесь ли вы, что он честит меня пиратом и душегубом? Вполне естественно пытаться очернить мои морские походы, раз именно благодаря им я обрел силу, способную ударить его по карману. Для этой схватки он избрал своим оружием клевету, но я предпочитаю иное оружие, что и докажу ему сегодня же. Если вы не верите моим словам — поедemте со мной, и вы лично поприствуете при короткой беседе, которую я намереваюсь провести с этим святошей.

— Вы забываете, — процедил мастер Годолфин, — что у меня тоже есть интересы в окрестностях Смитика и что вы наносите ущерб и моим доходам.

— Вот оно что! — победно воскликнул сэр Оливер. — Наконец-то солнце правды проглянуло сквозь тучи этого праведного негодования по поводу дурной крови Трессилианов и моих пиратских замашек! Вы тоже всего лишь торгаш! Посмотрите, каким дураком я был, считая вас искренним и беседуя с вами, как с честным джентльменом. — Голос его загремел, а губы скривились в таком презрении, которое хлестнуло гостя сильнее любой пощечины: — Клянусь, я не стал бы тратить на вас и слова, знай я заранее, сколь вы мелочный и жалкий человечиска!

— Эти слова... — начал мастер Годолфин, выпрямляясь во весь рост.

— ...куда мягче того, чего вы заслуживаете! — оборвал его хозяин и громко крикнул: — Ник!

— Вы ответите за них, — прошипел гость.

— Я отвечаю прямо сейчас, — последовал суровый отпор. — Явиться сюда и разглагольствовать о распутстве моего покойного отца и давней вражде наших семейств, блеять о моих мнимых пиратских грехах и образе жизни как о благовидном предлоге запретить мне жениться на вашей сестре — в то время как единственной вашей мыслью, истинным поводом для вражды была лишь горстка жалких фунтов в год, кои я помешал вам прикарманить! Убирайтесь вон, ради всего святого!

В эту секунду на пороге появился Ник.

— Вы еще услышите обо мне, сэр Оливер, — произнес Годолфин, белый от ярости. — Вы ответите мне за нанесенные оскорбления.

— Я не дерусь... с торгашами, — отрезал сэр Оливер.

— Вы смеее называть меня так?!

— Пожалуй, этим я лишь порочу почтенное купеческое сословие, признаю. Ник, проводи мастера Годолфина к дверям.

Глава II

Розамунда

Вскоре после ухода гостя сэра Оливер вновь обрел спокойствие. Но едва остыв и сумев трезво оценить положение, он вновь пришел в ярость от одной мысли о том, в какое неистовство впал, — ведь эта вспышка гнева воздвигла новые преграды перед ним и Розамундой вдобавок к тем немалым, что уже стояли на их пути. Буря его гнева развернулась на сто восемьдесят градусов и устремилась напрямиком на сэра Джона Киллигру. С ним следовало покончить немедленно. Непременно, клянусь небесным светом!

Он громогласно потребовал позвать Ника и принести сапоги.

— Где мастер Лайонел? — спросил он, когда слуга подал обувь.

— Только что вернулся со службы, сэр Оливер.

— Позови его сюда.

В ответ на зов незамедлительно явился единокровный брат сэра Оливера — стройный юноша, уродившийся в мать, вторую жену беспутного Ральфа Трессилиана. Он был столь же не похож на сэра Оливера телом, сколь и душой. Он обладал мягкой, почти женственной красотой: нежная белая кожа, золотые кудри и глубокие синие глаза. В нем сквозило очарование юношеской грации — шел ему всего двадцать первый год, — а одевался он с тщательностью заправского придворного щеголя.

— К тебе заходил этот щенок Годолфин? — спросил он, переступая порог.

— Да, — буркнул сэр Оливер. — Он пришел поведать мне кое-какие вещи и кое-что услышать в ответ.

— Ха! Я разминулся с ним у самых ворот, и он даже не соизволил ответить на мое приветствие. Несносный, спесивый щенок.

— Ты неплохо разбираешься в людях, Лал. — Сэр Оливер поднялся, уже обутый в ботфорты. — Я направляюсь в Арвенак, обменяться парой любезностей с сэром Джоном.

Его сжатые губы и решительный вид говорили красноречивее любых слов, так что Лайонел в тревоге схватил его за руку:

— Ты ведь не собираешься... ты не...?

— Именно это я и собираюсь сделать. — И он с нежностью похлопал брата по плечу, словно стремясь унять его явный испуг. — Сэр Джон, — пояснил он, — слишком много болтает языком. Этот порок требует исправления. Я еду преподать ему урок безмолвия.

— Быть беде, Оливер.

— Для него — непременно. Если человеку угодно распускать обо мне слухи, будто я пират, работоровец, убийца и Бог весть кто еще, пусть будет готов к последствиям. Но что-то ты припозднился, Лал. Где ты пропадал?

— Я ездил до самого Малпаса.

— До самого Малпаса? — Глаза сэра Оливера привычно сузились. — До меня доходят слухи, какой именно магнит влечет тебя в те края, — заметил он. — Будь осторожен, мальчик. Ты слишком часто навещаешься в Малпас.

— Что ты хочешь этим сказать? — несколько сухо осведомился Лайонел.

— Лишь то, что ты сын своего отца. Помни об этом и старайся не ступать на его стезю, дабы не кончить так же, как он. О его похождениях мне только что напомнил любезный мастер Питер. Не ездь так часто в Малпас, вот и все.

Впрочем, рука, которую он по-отечески положил на плечи младшего брата, и теплота его объятия делали любую обиду на это предостережение невозможной.

Когда Оливер уехал, Лайонел сел обедать, а старый Ник остался прислуживать ему. Юноша почти не притронулся к еде и за всю трапезу не проронил ни слова. Он был глубоко

задумчив. В мыслях он неотступно следовал за братом, отправившимся в Арвенак вершить возмездие. Киллигру был не робкого десятка, а опытным бойцом, закаленным солдатом и моряком. Если с Оливером случится беда...

Он содрогнулся от этой мысли; а затем, словно против собственной воли, его разум принялся подсчитывать выгоды для себя самого. Его положение круто переменится, подумал он. В ужасе он попытался отогнать столь омерзительную мысль, но она возвращалась вновь и вновь. Она упорно не желала уходить. Она принуждала его взглянуть в лицо собственным обстоятельствам.

Все, что имел, он был обязан щедрости брата. Их беспутный родитель умер так, как обычно умирают подобные люди: оставив после себя заложенные поместья и кучу долгов; даже сам дом Пенарроу был заложен, а вырученные под заклад деньги — пропиты, спущены в кости или растрачены на бесчисленных любовниц Ральфа Трессилиана. Тогда Оливер продал небольшое имение близ Хелстона, доставшееся ему от матери, и вложил вырученные средства в экспедицию на Испанский Мэйн. Он снарядил корабль, набрал команду и отплыл с Хокинсом в один из тех походов, которые сэр Джон Киллигру имел полное право счесть пиратскими набегами.

Оливер вернулся с богатой добычей в звонкой монете и драгоценных камнях, коей хватило, чтобы снять долги с родового гнезда Трессилианов. Затем он вышел в море снова и вернулся еще богаче. А Лайонел тем временем оставался дома и жил в свое удовольствие. Он обожал праздность. Его натура была от природы ленивой, со склонностью к расточительным, пышным вкусам, столь свойственным бездельникам. Он не был рожден для тяжелого труда и борьбы, и никто не пытался исправить этот изъян в его характере. Порой он задавался вопросом, какое будущее ждет его, если Оливер женится. Он опасался, что жизнь его уже не будет столь беззаботной, как прежде. Но по-настоящему глубокого страха он не испытывал. Людям подобного склада вовсе не свойственно излишне беспокоиться о грядущем. Когда мысли о будущем вызвали у него мимолетную тревогу, он мгновенно отмахивался от них, рассудив, что Оливер любит его и никогда не оставит без средств к роскошной жизни.

В этом он был совершенно прав. Оливер заменил ему отца. Когда их родителя привезли домой умирать от раны, нанесенной оскорбленным мужем — а кончина этого грешника являла собой поистине жуткое зрелище с его поспешным, паническим раскаянием, — он вверил Лайонела заботам старшего сына. В ту пору Оливеру было семнадцать, а Лайонелу — двенадцать. Но Оливер казался настолько взрослее своих лет, что дважды овдовевший Ральф Трессилиан привык во всем полагаться на этого стойкого, решительного и властного первенца. Именно ему на смертном одре старик излил горькую исповедь о беспутно прожитой жизни и о том плачевном состоянии, в котором оставлял свои дела, не обеспечив сыновей. За Оливера он был спокоен. Словно прозревая будущее, как то бывает с людьми на краю могилы, он чувствовал, что Оливер принадлежит к породе тех, кто берет от мира все, кто рожден побеждать. Все его тревоги касались Лайонела, чью натуру он тоже угадал с поразительной проницательностью. Отсюда и слезная мольба позаботиться о мальчике, и готовность Оливера стать для младшего брата и отцом, и матерью, и защитником.

Все это проносилось в уме Лайонела, пока он сидел за столом, и вновь он боролся с отвратительной, навязчивой мыслью: случись с братом худшее в Арвенке, сколь велика будет его собственная выгода; то, чем он пользуется сейчас из чужой милости, перейдет в его безраздельное владение. Какой-то бес нашептывал ему насмешливую подсказку, что умри Оливер — и его собственная скорбь продлится недолго. Но тут, в ужасе отпрянув от голоса столь омерзительного эгоизма, заставлявшего его содрогаться в моменты просветления, он вспомнил неизменную, беспредельную преданность Оливера; вспомнил всю ту нежную заботу и доброту, которыми старший брат осыпал его все эти годы, и проклял гниль собственного разума, способного впускать подобные помыслы.

Так глубоко потрясла его эта внутренняя буря, эта ожесточенная схватка меж совестью и себялюбием, что он внезапно вскочил на ноги с криком, сорвавшимся с губ:

— Vade retro, Sathanas!

Старый Николас испуганно вскинул голову и увидел, что лицо юного хозяина смертельно бледно, а на лбу выступили крупные капли пота.

— Мастер Лайонел! Мастер Лайонел! — встревоженно воскликнул старик, вглядываясь в него своими маленькими блестящими глазками. — Что с вами, сэр?

Лайонел отер со лба пот:

— Сэр Оливер отправился в Арвенак вершить расправу.

— Вот как, сэр? — отозвался Ник.

— Он поехал наказать сэра Джона за клевету.

Широкая ухмылка озарила обветренное лицо старика:

— Неужто? Ей-богу, давно пора! Сэр Джон больно распустил язык.

Лайонел с изумлением воззрился на слугу, пораженный его непоколебимой уверенностью в исходе поединка.

— Неужели... неужели ты не боишься, Николас?.. — Он не договорил, чего именно. Но слуга понял и ухмыльнулся еще шире:

— Бояться? Чего ради! Я за сэра Оливера ни капли не боюсь, и вы не бойтесь. Сэр Оливер вернется к ужину с волчьим аппетитом — драка на него всегда только так и действует.

Уверенность слуги полностью оправдалась событиями, хотя из-за небольшой оплошности сэр Оливер и не довел задуманное до конца. В гневе, чувствуя себя оскорбленным, он был — как не устает повторять его летописец и в чем вы сами убедитесь, прежде чем история подойдет к концу, — наделен тигриной беспощадностью. Он скакал в Арвенак с твердым намерением убить клеветника. Ничто меньшее его не устроило бы.

Прибыв в этот великолепный зубчатый замок рода Киллигру, охранявший вход в эстуарий реки Фал — с его башен открывался вид на всю округу вплоть до мыса Лизард в пятнадцати милях к югу, — он застал там Питера Годолфина. Именно из-за присутствия Питера сэр Оливер бросил обвинения сэру Джону более сдержанно и официально, нежели собирался. Он желал не просто призвать клеветника к ответу, но и обелить себя в глазах брата Розамунды, заставив того осознать всю мерзость наветов сэра Джона и их истинную подоплеку.

Впрочем, сэр Джон сам сделал шаг навстречу ссоре. Его ненависть к «Пенарроускому пирату» — как он прозвал сэра Оливера — делала его столь же готовым к схватке, как и его гость.

Они удалились в глухой уголок оленьего парка, и там сэр Джон — сухопарый, желчный джентльмен лет тридцати — ринулся на сэра Оливера со шпагой и кинжалом, вложив в этот выпад всю ту ярость, с какой прежде орудовал языком. Но его неистовый натиск не дал ровным счетом ничего. Сэр Оливер явился с определенной целью, а он был из тех людей, кто никогда не отступает от задуманного.

Не прошло и трех минут, как все было кончено: сэр Оливер тщательно вытирал клинок, в то время как сэр Джон лежал на траве, задыхаясь от кашля, под присмотром побелевшего как полотно Питера Годолфина и перепуганного конюха, взятого в качестве необходимого свидетеля.

Сэр Оливер вложил оружие в ножны, надел камзол и подошел к поверженному врагу, критически оглядев его:

— Полагаю, я заставил его замолчать лишь ненадолго, — произнес он. — И признаюсь, надеялся справиться получше. Впрочем, надеюсь, этого урока хватит, и он впредь воздержится от лжи — по крайней мере, на мой счет.

— Вы глумитесь над поверженным? — гневно вскричал мастер Годолфин.

— Упаси Бог! — трезво возразил сэр Оливер. — В моем сердце нет насмешки. В нем, поверьте, нет ничего, кроме сожаления — сожаления о том, что я не довел дело до конца. Я пришлю помощь из замка, когда буду выезжать. Желаю вам доброго дня, мастер Питер.

Из Арвенака он поскакал в объезд через Пенрин. Однако направился он не домой. У ворот Годолфин-Корта, возвышавшегося над мысом Трефьюзис и открывавшего вид на рейд Каррик-Роудс, он придержал коня. Въехав под старинную арку, он спешился на булыжную мостовую двора и объявил, что желает видеть мистресс Розамунду.

Он застал ее в девичьем покое — светлой угловой башенной комнате на восточной стороне дома, чьи окна выходили на великолепную гладь залива и лесистые холмы вдаль. Она сидела с книгой на коленях в глубокой нише высокого окна, когда он вошел, предваренный Салли Пентрит, ее камеристкой, некогда бывшей ее кормилицей.

Розамунда поднялась с радостным возгласом, едва его фигура возникла в дверях — косяк был едва ли достаточно высок, чтобы впустить его без поклона, — и замерла, глядя на него через комнату сияющими глазами с вспыхнувшим на щеках румянцем.

Стоит ли описывать ее красоту? В дни той громкой известности, в пучину которой ее вскоре ввергнет сэр Оливер Трессилян, едва ли нашелся в Англии поэт, не воспевавший грацию и прелесть Розамунды Годолфин, и довольно этих стихотворных строк дошло до наших дней. Как и ее брат, она была златовласой и божественно высокой, хотя в силу юности девичья фигура ее казалась почти чересчур тонкой для такого роста.

— Я не ждала вас так рано... — начала она, но тут же заметила странную суровость на его лице. — Что... что случилось? — воскликнула она, повинувшись тревожному предчувствию.

— Ничего такого, что должно пугать тебя, радость моя, хотя это может тебя огорчить. — Он обнял ее за тонкую талию над пышным фижменным платьем, бережно подвел к креслу и сам опустился рядом на оконное сиденье. — Ты ведь питаешь привязанность к сэру Джону Киллигру? — спросил он, то ли утверждая, то ли вопрошая.

— Да, конечно. Он был нашим опекуном, пока брат не достиг совершеннолетия.

Сэр Оливер поморщился:

— Вот в том-то и беда. Так вот: я только что едва не убил его.

Она отпрянула в глубь кресла; на ее лице отразился ужас, кровь отхлынула от щек. Он поспешил объяснить причины, толкнувшие его на этот шаг; вкратце поведал о клевете, которую распускал сэр Джон, дабы выместить злобу за поражение в споре о королевской лицензии на застройку в Смитике.

— Это не имело бы значения, — заключил он. — Я знал, что эти сплетни ходят по округе, и относился к ним с тем же презрением, с каким отношусь к их сочинителю. Но он пошел дальше, Роза: он отравил разум твоего брата и раздул в нем дремавшую вражду, что разделяла наши семьи во времена моего отца. Сегодня Питер явился ко мне с явным намерением затеять ссору. Он нанес мне такие оскорбления, каких еще ни один человек не смел мне бросить в лицо.

Она вскрикнула, и без того сильная ее тревога удвоилась. Он мягко улыбнулся:

— Не бойся, я не причинил ему вреда. Он твой брат и потому священен для меня. Он пришел объявить, что помолвка меж нами невозможна, запретил мне переступать порог Годолфин-Корта, в лицо обозвал меня пиратом и кровопийцей и надругался над памятью моего отца. Я проследил этот яд до самого источника в лице Киллигру и поскакал напрямик в Арвенак, дабы навсегда заставить замолчать этот фонтан лжи. Мне не удалось сделать все так основательно, как хотелось бы. Видишь, я честен с тобой, моя Роза. Быть может, сэр Джон выживет; коли так, надеюсь, урок пойдет ему впрок. Я примчался к тебе, — подытожил он, — дабы ты услышала правду из моих уст, прежде чем явится кто-то другой и очернит меня лживыми рассказами.

— Ты... ты говоришь о Питере? — выдохнула она.

— Увы, — вздохнул он.

Она сидела неподвижно, бледная, глядя прямо перед собой и избегая взгляда сэра Оливера. Наконец она заговорила:

— Я не умею читать в сердцах, — произнесла она тихим, печальным голосом. — Откуда мне знать людей, если я всего лишь девушка, прожившая затворницей? Мне говорили о тебе, что ты человек буйного и жестокого нрава, скорый на расправу, злопамятный и беспощадный во вражде.

— Ты тоже наслушалась речей сэра Джона, — пробормотал он и коротко усмехнулся.

— Все это мне говорили, — продолжала она, словно не слыша его, — и всему этому я отказывалась верить, ибо мое сердце было отдано тебе. Но... но что ты доказал сегодня?

— Свое долготерпение, — отрезал он.

— Долготерпение? — эхом отозвалась она, и губы ее скривились в горькой, усталой усмешке. — Ты надо мной смеешься!

Он принялся терпеливо объяснять:

— Я рассказал тебе, что натворил сэр Джон. Я сказал тебе, что о большей части его козней — особенно обо всем, что касалось моей чести, — мне было известно давным-давно. И все же я сносил это молча, с презрением. Разве это свидетельство жестокости и вспыльчивости? Что это, как не долготерпение? Но когда он довел свою мелочную торгашескую злобу до того, что попытался лишить меня единственного счастья в жизни и подослал твоего брата оскорбить меня, я все равно проявил сдержанность: понял, что твой брат — лишь орудие, и пошел прямо к руке, сжимавшей его. Зная о твоём добром отношении к сэру Джону, я дал ему такую поблажку, какой не дал бы ни один дворянин в Англии.

Видя, что она по-прежнему избегает смотреть на него и сидит, оцепенев от ужаса при мысли, что любимый мужчина обагрил руки кровью человека, к которому она тоже была привязана, он заговорил еще горячее. Он опустился на колени подле ее кресла и сжал своими сильными жилистыми руками ее тонкие пальцы, безвольно лежавшие на коленях.

— Роза, — воззвал он, и в его глубоком голосе зазвучала мольба, — выбрось из головы все чужие наветы! Подумай лишь о том, что произошло. Представь, что мой брат Лайонел пришел бы к тебе и, пользуясь властью опекуна, поклялся, что ты никогда не выйдешь за меня, поклялся расстроить наш брак, заявив, будто ты недостойна с честью носить мое имя; и представь, что вдобавок он осыпал бы бранью память твоего покойного отца — что ответила бы ты ему? Ответь, Роза! Будь честна со мной и с собой. Поставь себя на мое место и скажи по совести: можешь ли ты осуждать меня за содеянное? Сильно ли это отличается от того, что захотела бы сделать ты сама в подобном случае?

Теперь ее взор обратился к его запрокинутому лицу, каждая черта которого молила о пощаде и беспристрастном суде. Лицо девушки дрогнуло, в нем промелькнуло смятение, сменившееся почти яростной решимостью. Она положила руки ему на плечи и заглянула глубоко в его светлые глаза:

— Клянешься ли ты мне, Нолл, что все было именно так, как ты рассказал, — что ты ничего не добавил и не утаил, дабы выставить себя в лучшем свете?

— Тебе нужны от меня клятвы? — с укоризной спросил он, и она увидела, как тень печали легла на его чело.

— Если бы они были мне нужны, я бы не любила тебя, Нолл. Но в такой час мне нужно твое собственное заверение. Будь великодушен, пойми меня: дай мне силы выстоять против всего, что стану говорить потом!

— Бог мне свидетель, я сказал тебе чистую правду, — торжественно произнес он.

Она уронила голову ему на плечо и тихо заплакала, обессиленная этой бурей чувств, ставшей развязкой всего того, что она втайне выстрадала с тех пор, как он начал свататься к ней.

— Тогда, — прошептала она, — я верю, что ты поступил правильно. Я верю, что ни один человек чести не мог поступить иначе. Я должна верить тебе, Нолл, ибо если я усомнюсь, мне останется лишь потерять веру во все на свете и лишиться надежды. Ты подобен пламени, что объяло лучшую часть моей души и сожгло ее дотла, дабы хранить этот пепел в своем сердце. Я счастлива, пока ты верен мне.

— Я вечно буду верен тебе, любимая, — с жаром прошептал он. — Да и могу ли я быть иным, когда ты сама ниспослана мне, дабы сделать меня лучше?

Она вновь взглянула на него и теперь улыбнулась сквозь слезы грустной, нежной улыбкой:

— И ты будешь терпелив с Питером? — взмолилась она.

— У него не хватит сил рассердить меня, — пообещал он. — В этом я тоже клянусь. Знаешь ли ты, что сегодня он ударил меня?

— Ударил тебя?! Ты не говорил мне об этом!

— Моя ссора была не с ним, а с негодяем, который его подослал. Я лишь посмеялся над ударом. Разве он не свят для меня?

— В глубине души он добр, Нолл, — продолжала она. — Со временем он полюбит тебя так, как ты того заслуживаешь, и ты поймешь, что и он достоин твоей любви.

— Он достоин ее уже сейчас — за ту любовь, что питает к тебе.

— И ты будешь помнить об этом все то недолгое время ожидания, что неизбежно предстоит нам?

— Я никогда не стану думать иначе, радость моя. А пока я стану избегать встреч с ним, и, дабы не навлечь беды, коли он запретит мне бывать в Годолфин-Корте, я просто не стану приходить сюда. Меньше чем через год ты станешь совершеннолетней, и никто не посмеет указывать тебе. Что такое год, когда столь великая надежда смирят любое нетерпение?

Она провела ладонью по его щеке:

— Ты всегда так ласков со мной, Нолл, — с нежностью прошептала она. — Я не могу поверить, что ты бываешь жесток с кем-то, как о тебе говорят.

— Не слушай их, — ответил он. — Быть может, во мне и было нечто подобное, но ты очистила меня, Роза. Какой мужчина, любя тебя, посмел бы не быть кротким? — Он поцеловал ее и поднялся: — Мне пора идти. Завтра утром я пойду берегом к мысу Трефьюзис. Если тебе случайно захочется прогуляться в тех же краях...

Она рассмеялась и тоже поднялась:

— Я буду там, милый Нолл.

— Отныне так будет безопаснее всего, — заверил он с улыбкой и простился с ней.

Она проводила его до верхней площадки лестницы и с гордостью в сияющих глазах смотрела, как спускается этот статный, могучий и властный мужчина, безраздельно отдавший ей свое сердце.

Глава III

Кузница

Осмотрительность сэра Оливера, поспешившего первым принести Розамунде весть о событиях того дня, подтвердилась вскоре, когда мастер Годолфин вернулся домой. Он тотчас отправился на поиски сестры; будучи в состоянии духа, подавленном страхом и скорбью за сэра Джона, уязвленным самолюбием после встречи с сэром Оливером и порожденной всем этим яростью, он держался грубо и вызывающе.

— Сударыня, — выпалил он без обиняков, — сэр Джон, похоже, при смерти.

Поразительный ответ сестры — поразительный для него — ничуть не способствовал умиротворению его взвинченных чувств.

— Я знаю, — отозвалась она. — И полагаю, он заслужил не меньшего. Тому, кто сеет клевету, следует быть готовым к ее жатве.

Он долго и яростно глядел на нее в гробовом молчании, затем разразился бранью и, наконец, принялся осыпать упреками за бессердечие, объявив, что этот подлый пес Трессилян попросту околдовал ее.

— Какое счастье для меня, — невозмутимо ответила она, — что он побывал здесь раньше тебя и поведал мне правду об этом происшествии. — Но затем напускное спокойствие и гнев, с коим она встретила его нападки, покинули ее: — О, Питер, Питер! — в муке вскричала она. — Я молюсь, чтобы сэр Джон поправился. Я места себе не нахожу от горя! Но будь справедлив, умоляю тебя! Сэр Оливер рассказал мне, как жестоко его вынудили взяться за оружие.

— Его вынудят еще пуще, клянусь жизнью пред Господом! Если ты думаешь, будто это сойдет ему с рук...

Она припала к его груди, умоляя не раздувать ссору дальше. Она заговорила о своей любви к сэру Оливеру, объявила о твердом намерении выйти за него замуж вопреки любым препятствиям, что, впрочем, ничуть не смягчило брата. И все же из-за глубокой привязанности, с детских лет связывавшей их обоих, он в конце концов уступил настолько, что пообещал: если сэр Джон выживет, он сам не станет преследовать обидчика. Но если сэр Джон умрет — что было весьма вероятно, — честь обяжет его отомстить за дело, к которому он сам приложил руку.

— Я вижу этого человека насквозь, точно раскрытую книгу, — с юношеским бахвальством провозгласил юноша. — В нем сидит дьявольская изворотливость, но меня ему не провести. Он метил в меня, нанося удар Киллигру! Из-за того, что ты нужна ему, Розамунда, он не посмел — как сам мне прямо и заявил — тронуть меня, как бы я его ни провоцировал, даже когда дело дошло до удара. Он мог бы убить меня за это, но знал, что тем самым воздвигнет непреодолимую стену между вами. О, он расчетлив, как все бесы преисподней! И вот, чтобы смыть нанесенное мной бесчестье, он сваливает вину на Киллигру и едет убивать его, надеясь к тому же, что это послужит предостережением мне. Но если Киллигру умрет...

И так он продолжал разглагольствовать, наполняя ее кроткое сердце невыразимой болью при виде этой растущей вражды между двумя мужчинами, которых она любила больше всего на свете. Случись так, что один убьет другого, она знала: больше она никогда не сможет взглянуть в лицо оставшемуся в живых.

Она воспрянула духом, лишь вспомнив священную клятву сэра Оливера в том, что жизнь ее брата будет неприкосновенна для него, что бы ни стряслось. Она верила ему; она полагалась на его слово и на ту редкую внутреннюю силу, которая позволяла ему избрать путь, не под силу ни одному слабому человеку. От этих раздумий гордость за жениха лишь крепла, и она благодарила Бога за возлюбленного, бывшего во всех отношениях истинным исполином среди смертных.

Но сэр Джон Киллигру не умер. Около недели он балансировал между этим и лучшим миром, после чего пошел на поправку. К октябрю он уже начал выходить: исхудавший, бледный, потерявший половину прежнего веса — сущая тень прежнего человека.

Один из первых своих визитов он нанес в Годолфин-Корт. Он приехал предостеречь Розамунду от опрометчивой помолвки, сделав это по настоятельной просьбе ее брата. Однако в его увещеваниях странным образом не доставало той силы убеждения, на которую рассчитывал юноша.

Странность заключалась в том, что, заглянув в лицо смерти и ощутив, как меркнут все земные интересы, сэр Джон честно взглянул правде в глаза и пришел к выводу — невозможно для него в добром здравии, — что получил по заслугам. Он осознал, что поступил недостойно, пусть даже в пылу спора и не отдавал себе в этом отчета; что оружие, коим он сражался против сэра Оливера, не пристало джентльмену и не способно принести чести. Он понял, что позволил давней вражде с домом Трессилианов, раздутой недавней обидой из-за лицензии на строительство в Смитике, помрачить рассудок и внушить себе, будто сэр Оливер действительно таков, каким он его выставлял. Он признал, что немалую роль тут сыграла и зависть. Морские походы принесли сэру Оливеру богатство, и с помощью этого богатства он вновь укреплял влияние Трессилианов, столь безбожно подорванное Ральфом Трессилианом, угрожая затмить значение рода Киллигру из Арвенака.

И все же, пойдя на попятную, он не был готов признать сэра Оливера Трессилиана достойным супругом для Розамунды Годолфин. Ее и ее брата вверил его заботам их покойный отец, и он благородно нес бремя опекунства до самого совершеннолетия Питера. Его привязанность к Розамунде была нежна, как любовь жениха, но умерялась сугубо отеческим чувством. Он едва ли не боготворил девушку, и в конечном счете, очистив разум от предвзятости, все же находил в Оливере Трессилиане слишком много отталкивающего, а мысль о том, что тот станет мужем Розамунды, была ему глубоко противна.

Прежде всего сказывалась дурная кровь Трессилианов — печально известная дурная порода, никогда не проявлявшаяся столь вопиюще, как в покойном Ральфе Трессилиане. Оливер попросту не мог избежать этого тлетворного наследия, да и сэр Джон не замечал в нем ни малейших признаков исправления. В нем бурлило все то же традиционное буйство Трессилианов. Он был вспыльчив и груб, а пиратское ремесло, к которому он приложил руку, из всех возможных занятий лучше всего подходило его натуре. Он был резок и деспотичен, не терпел возражений и привык безжалостно топтать чужие чувства. Разве такой человек, спрашивал себя рыцарь со всей искренностью, пара Розамунде? Может ли он доверить счастье девушки подобному человеку? Разумеется, нет.

Посему, едва встав на ноги, он отправился увещевать ее, почитая сие своим долгом и повинуюсь мольбам мастера Питера. Однако, памятуя о своей прежней несправедливости, он старался скорее преуменьшать, нежели преувеличивать доводы.

— Но, сэр Джон, — возразила она, — если каждого человека судить по грехам его предков, мало кто избежит осуждения. Где же вы найдете мне мужа, заслуживающего вашего одобрения?

— Его отец... — начал сэр Джон.

— Не говорите мне о его отце, скажите о нем самом! — оборвала она.

Он нетерпеливо нахмурился — они сидели в ее светлице над рекой:

— Я как раз подхожу к этому, — отозвался он с легким раздражением, ибо эти перебивания, заставлявшие держаться сути дела, лишали его главных аргументов. — Впрочем, довольно и того, что многие из дурных наклонностей отца он унаследовал, о чем свидетельствует сам его образ жизни. А в том, что он избежал прочих пороков, нас сможет убедить лишь будущее.

— Иными словами, — насмешливо, но вполне серьезно заметила она, — мне следует дожидаться, пока он не умрет от старости, дабы окончательно удостовериться, что в нем нет грехов, делающих его неподходящим мужем?

— Нет, нет! — вскричал он. — Боже правый, до чего же ты упряма!

— Это ваше упрямство, сэр Джон. Я лишь отражаю его, точно зеркало.

Он заерзал в кресле и крякнул:

— Ну пусть будет так! — огрызнулся он. — Поговорим о тех свойствах, кои он уже выказывает. — И сэр Джон принялся перечислять их.

— Но ведь это лишь ваше мнение о нем — лишь то, что вы сами о нем думаете!

— Так думает весь свет!

— Но я собираюсь выйти замуж за человека не из-за того, что думают о нем другие, а из-за того, что думаю о нем я сама. На мой взгляд, вы жестоко клеветеете на него. Я не нахожу в сэре Оливере подобных пороков.

— Я как раз и молю тебя не выходить за него, дабы избавить от подобного открытия!

— Но пока я не выйду за него, я никогда не сделаю такого открытия; а пока я его не сделаю, я буду продолжать любить его и желать стать его женой. Неужели вся моя жизнь должна пройти в этих пререканиях? — Она звонко рассмеялась, подошла и встала подле него.

Она обняла его за шею, точно родного отца, как привыкла делать изо дня в день на протяжении последних десяти лет, заставив рыцаря почувствовать себя глубоким старцем. Рукой она ласково провела по его лбу:

— Ну вот, опять эти сердитые морщины дурного настроения! — весело воскликнула она. — Вы разбиты наголову женским умом, и вам это не по вкусу!

— Я разбит женским своеволием — упрямым нежеланием видеть очевидное!

— Вам нечего мне показать, сэр Джон.

— Нечего? Неужто все сказанное мною — ничто?

— Слова — это не вещи; суждения — не факты. Вы говорите, что он такой, сякой и этакий. Но когда я спрашиваю, на каких фактах вы строите свой суд, единственным ответом служит лишь то, что вам так кажется. Ваши помыслы могут быть честными, сэр Джон, но логика ваша никуда не годится. — И она снова рассмеялась при виде его растерянности. — Полноте, поступите как честный и справедливый судья: назовите мне хоть один его поступок — хоть одно деяние, о котором вам достоверно известно, — подтверждающее ваши слова. Ну же, сэр Джон!

Он с досадой поглядел на нее, а затем не выдержал и улыбнулся:

— Плутовка! — воскликнул он (и в один далекий день ему суждено было вспомнить эти слова). — Если ему когда-нибудь доведется предстать перед судом, я не пожелаю ему лучшего защитника, чем ты!

Тотчас развивая успех, она поцеловала его в щеку:

— А я не пожелаю бы ему более честного судьи, чем вы.

Что оставалось делать бедному джентльмену? Лишь то, что он и сделал: оправдать ее слова и немедленно отправиться к сэру Оливеру, дабы положить конец их ссоре.

Признание вины было принесено с благородным достоинством, и сэр Оливер принял его со столь же искренним великодушием. Однако, когда речь зашла о мистресс Розамунде, сэр Джон, движимый чувством долга перед воспитанницей, проявил меньше покладистости. Он объявил, что, поскольку не может заставить себя считать сэра Оливера подходящей партией для девушки, ничто из сказанного им ныне не должно вводить сэра Оливера в заблуждение, будто он дает согласие на этот союз.

— Впрочем, — добавил он, — это не означает, что я стану чинить препятствия. Я не одобряю этого брака, но умываю руки. Пока она не достигнет совершеннолетия, ее брат будет отказывать в согласии. После этого дело перестанет касаться как его, так и меня.

— Надеюсь, — произнес сэр Оливер, — он проявит не меньшее благоразумие. Впрочем, каков бы ни был его взгляд, это не имеет значения. В остальном же, сэр Джон, я благодарю вас за прямоту и счастлив знать, что если и не могу числить вас среди друзей, то, по крайней мере, избавлен от необходимости видеть в вас врага.

Но если сэра Джона удалось склонить к нейтралитету, то ненависть мастера Питера ничуть не угасла; напротив, она разгоралась с каждым днем, и вскоре возникло новое обстоятельство, подлившее масла в огонь, о чем сэр Оливер даже не подозревал.

Он знал, что его брат Лайонел почти ежедневно навещается верхом в Малпас, и знал истинную цель этих поездок. Ему было известно о даме, державшей там некое подобие светского салона для провинциальных щеголей из Труро, Пенрина и Хелстона; знал он и о той дурной славе, что тянулась за ней из Лондона, — славе, послужившей истинной причиной ее бегства в деревню. Он высказал брату несколько горьких и неприятных истин на ее счет в качестве предостережения, и тогда они впервые едва не поссорились всерьез.

После этого Оливер больше не заговаривал о ней. Он знал, что при всей своей лености Лайонел бывает на редкость упрям, и достаточно хорошо изучил человеческую природу, чтобы понимать: вмешательство лишь вколотит клин между братьями, ничуть не достигнув цели. Посему Оливер покорно пожал плечами и смолк.

На этом он оставил дело и больше никогда не упоминал ни Малпас, ни царившую там сирену. А тем временем осень сменилась зимой, и с наступлением ненастных дней у сэра Оливера и Розамунды стало меньше возможностей для встреч. В Годолфин-Корт он не ездил, зная, что она этого не желает; да и сам полагал за благо держаться подальше, дабы не навлечь ссоры с хозяином дома, запретившим ему появляться в поместье. В ту пору он редко виделся с Питером Годолфином, а при редких случайных встречах они обменивались лишь сухощавым, едва заметным поклоном.

Сэр Оливер был совершенно счастлив, и люди вокруг замечали, насколько мягче стал звучать его голос, насколько приветливее сделалось лицо, прежде казавшееся надменным и суровым. Он ждал грядущего счастья с уверенностью бессмертного в завтрашнем дне. Все, чего требовала от него Судьба, было терпение, и он нес эту службу легко и радостно, уповая на скорую награду. Год близился к концу; не успеет минуть следующая зима, как в доме Пенарроу появится хозяйка. Это казалось ему столь же неизбежным, как смена времен года.

И все же, несмотря на безграничную уверенность, на все терпение и радость, порой его охватывала необъяснимая, смутная тревога — подсознательное предчувствие беды, зреющей в утробе Судьбы. Пытаясь бороться с этим гнетом, пытаясь облечь его в доводы рассудка, он не находил ни единой зацепки и в итоге решал, что сама безмерность счастья тяготит его душу, порождая порой щемящую тяжесть в груди, словно стремясь осадить ее радостный полет.

Однажды, за неделю до Рождества, ему понадобилось съездить по какому-то пустячному делу в Хелстон. Полнедели над побережьем бушевала метель, удерживая его взаперти у камина, пока снежные сугробы укутывали округу слой за слоем. На четвертый день буря улеглась, выглянуло солнце, небо очистилось от туч, и вся земля оделась в ослепительно белое, залитое солнечным светом покрывало. Сэр Оливер велел оседлать коня и в одиночестве отправился в путь по скрипучему снегу.

Он повернул к дому в начале пополудни, но в паре миль от Хелстона конь его расковался. Он спешился и, накинув повод на руку, зашагал по залитой солнцем долине меж высотами Пенденниса и Арвенака, напевая на ходу. Так он добрался до Смитика и остановился у дверей кузницы. Вокруг нее толпились рыбаки и поселяне, ибо из-за отсутствия поблизости таверны эта кузня служила излюбленным местом сборищ. Помимо селян и бродячего торговца с вьючными лошадьми, там находились сэр Эндрю Флэк, приходской священник из Пенрина, и мастер Грегори Бейн, один из мировых судей из окрестностей Труро. Обоих сэр Оливер хорошо знал и завязал с ними дружескую беседу, дожидаясь, пока подкуют коня.

Все это было крайне неудачно — начиная от потерянной подковы и кончая встречей с этими джентльменами; ибо пока сэр Оливер стоял там, вниз по пологому склону от Арвенака верхом спустился мастер Питер Годолфин.

Впоследствии сэр Эндрю и мастер Бейн рассказывали, что мастер Питер казался изрядно навеселе — так пылало его лицо, так неестественно блестели глаза, так невнятна была речь и так вздорны и нелепы были его слова. В этом вряд ли приходилось сомневаться. Он питал слабость к канарскому вину, как, впрочем, и сэр Джон Киллигру, а обедал он как раз у сэра Джона. Он принадлежал к той породе людей, что от хмеля делаются задиристыми — иными словами, когда вино развязывало язык и снимало запреты, наружу вырывалось его истинное дурное нутро.

Вид стоявшего у кузни сэра Оливера дал юноше именно ту искру, которой недоставало его злобе, а присутствие почтенных джентльменов лишь подстегнуло его спесь. В затуманенной вином голове, возможно, всплыло воспоминание о том, как однажды он уже ударил сэра Оливера, а тот лишь рассмеялся и бросил, что никто этому не поверит.

Поравнявшись с толпой, он так резко осадил коня, что тот едва не сел на круп, словно кошка; тем не менее всадник удержался в седле. Затем он проехал по раскисшему, истоптанному снегу перед кузницей и глумливо уставился на сэра Оливера:

— Я еду из Арвенака! — объявил он без всякой на то надобности. — Мы говорили о вас.

— Лучшего предмета для беседы вы и найти не могли, — с улыбкой отозвался сэр Оливер, хотя глаза его сделались жесткими и настороженными — впрочем, он тревожился не за себя.

— Ей-богу, вы правы! Тема прелюбопытная — вы и ваш распутный папаша!

— Сэр, — ответил сэр Оливер, — однажды я уже имел случай пожалеть о крайнем недостатке благоразумия у вашей матушки.

Слова сорвались с его языка в единый миг под действием нанесенного оскорбления, вырвавшись в слепой вспышке гнева при виде этого перекошенного насмешкой хмельного лица. Едва произнес их, он горько раскаялся — тем более что селяне встретили его выпад громким гоготом. В ту секунду он отдал бы половину своего состояния, лишь бы вернуть эти слова назад.

Лицо мастера Годолфина изменилось так разительно, точно с него сорвали маску. Из багрового оно стало мертвенно-бледным; глаза вспыхнули бешеным огнем, губы задергались. С секунду он испепелял врага взглядом. Затем, привстав на стременах, высоко взмахнул хлыстом.

— Пес! — вырвался у него хриплый, удушливый всхлип. — Подлый пес!

И свистнувший в воздухе хлыст рассек смуглое лицо сэра Оливера длинным алым рубцом.

С криками ужаса и негодования священник, судья и селяне бросились между ними, ибо взгляд сэра Оливера стал поистине ужасен, а всем было известно, сколь опасен этот человек в гневе.

— Мастер Годолфин, постыдитесь! — вскричал пастор. — Если из этого выйдет зло, я засвидетельствую всю низость вашего нападения! Ступайте прочь отсюда!

— Катитесь к черту, сэр! — заплетающимся языком рявкнул мастер Годолфин. — Смеет ли этот ублюдок трепать имя моей матери? Клянусь Богом, дело этим не кончится! Либо он пришлет ко мне своих секундентов, либо я буду охаживать его плетью при каждой встрече! Слышите, сэр Оливер?

Сэр Оливер не проронил ни слова.

— Слышите? — взревел юноша. — На сей раз за спину сэра Джона Киллигру не спрячешься! Приходите ко мне, и вы получите сполна то наказание, коего этот рубец — лишь пер-

вый задаток! — С хриплым смехом он так яростно вонзил шпоры в бока коня, что едва не сбил с ног священника и еще одного зеваку.

— Подожди меня совсем недолго! — прорычал ему вслед сэр Оливер. — Больше ты в седло не сядешь, пьяный дурак!

В бешенстве он потребовал своего коня, оттолкнув священника и мастера Бейна, пытавшихся удержать и успокоить его. Едва клячу подвели, он взлетел в седло и вихрем умчался в яростную погоню.

Пастор поглядел на мирового судью; тот лишь пожал плечами, крепко сжав губы.

— Молодой глупец пьян, — произнес сэр Эндрю, качая седой головой. — Он совсем не готов предстать перед Создателем.

— Однако же, похоже, весьма к тому стремится, — заметил судья Бейн. — Боюсь, нам еще предстоит услышать об этом деле. — Он повернулся и заглянул в кузницу, где меха теперь замерли, а сам кузнец, закопченный, в кожаном фартуке, стоял на пороге, слушая пересуды селян. Мастер Бейн, по-видимому, питал склонность к аллегориям: — Ей-богу, место для встречи выбрано на редкость удачно. Сегодня здесь выковали клинок, закалить который сможет только кровь.

Глава IV

Вмешавшийся

Священник порывался поскакать вдогонку за сэром Оливером и умолял мастера Бейна присоединиться к нему. Однако мировой судья лишь посмотрел вдоль своего длинного носа и рассудил, что толку от этого не будет: Трессилианы испокон веков были людьми дикими и скорыми на расправу, а разгневанного Трессилиана благоразумнее обходить десятой дорогой. Сэр Эндрю, отнюдь не отличавшийся отвагой, нашел в словах судьи немало здравого смысла и вспомнил, что ему хватает собственных бед со сварливой супругой, дабы взваливать на плечи чужие тяготы. Мастер Годолфин и сэр Оливер сами заварили эту кашу, заключил судья; ради всего святого, пусть сами ее и расхлебывают, а коли в процессе они перережут друг другу глотки — что ж, быть может, округа лишь вздохнет свободнее, избавившись от парочки буянов.

Бродячий торговец счел обоих безумцами, чьи повадки не укладываются в голове добropорядочного гражданина. У остальных же — рыбаков и деревенских зевак — не было ни лошадей, ни охоты пускаться в погоню.

Они разошлись по округе, разнося весть о короткой яростной ссоре и предрекая, что при ее развязке непременно прольется кровь. Свое пророчество они строили исключительно на знании крутого нрава Трессилианов. Однако в этом они глубоко заблуждались. Правда, сэр Оливер во весь опор летел по дороге вдоль реки Пенрин и с грохотом промчался по мосту в городке Пенрин по следам мастера Годолфина с жаждой убийства в груди. Люди, видевшие, как он бешено скачет с алым рубцом на бледном перекошенном лице, говорили потом, что он походил на самого дьявола.

Он перемахнул мост в Пенрине через полчаса после заката, когда сумерки уже сгустились в ночь, и, возможно, морозный воздух остудил его разгоряченную кровь. Ибо, достигнув восточного берега реки, он осадил коня и сбавил бешеный галоп своих мыслей. Воспоминание о клятве, данной три месяца назад Розамунде, поразило его, точно физический удар. Оно разрушило его намерение, и всадник перевел коня на неторопливый шаг. Он содрогнулся при мысли о том, как близок был к тому, чтобы растоптать все будущее счастье. Что значил удар мальчишеского хлыста, чтобы обида на него ставила под угрозу всю его жизнь? Пусть даже люди назовут его трусом за то, что он стерпел и оставил оскорбление неотомщенным, какое это имеет значение? К тому же на теле любого, кто осмелится бросить ему подобный упрек, он всегда сумеет выжечь клеймо лжи. Сэр Оливер возвел взор к темно-сапфировому своду небес, где холодно мерцала одинокая звезда, и от всего сердца поблагодарил Бога за то, что не настиг Питера Годолфина, пока безумие владело им.

В миле или около того ниже Пенрина он свернул на дорогу, спускавшуюся к перевозу, и на ослабленных поводьях не спеша поехал домой через гребень холма. Это был не привычный его путь. Обычно он делал крюк через мыс Трефьюзис, чтобы бросить взгляд на стены дома, укрывавшего Розамунду, и поглядеть на окно ее светлицы. Но сегодня он решил, что короткая дорога через холм безопаснее. Поехав мимо Годолфин-Корта, он рисковал вновь столкнуться с Питером, а недавний гнев предостерегал его от подобных встреч, во избежание неоправданного зла. Более того, это предостережение прозвучало так повелительно, а сам он настолько убоился собственной вспыльчивости после происшедшего, что решил покинуть Пенарроу уже завтра.

Куда именно он направится, рыцарь еще не решил. Он мог уехать в Лондон или даже отправиться в новое морское плавание — мысль, которую он недавно оставил под влиянием горячих мольб Розамунды. Но уехать из этих мест было необходимо: следовало положить расстояние между собой и Питером Годолфином до тех пор, пока он не назовет Розамунду женой. Восемь месяцев изгнания — но какая разница? Уж лучше так, чем совершить поступок, кото-

рый разлучит их навеки. Он напишет ей, и она поймет и одобрит его шаг, когда узнает, что произошло сегодня.

К тому времени, как он подъехал к Пенарроу, решение окончательно созрело в нем, наполнив душу облегчением и надеждой на спасение будущего счастья.

Он сам отвел коня в конюшню: из двух его конюхов один с его позволения уехал вчера встречать Рождество с родителями в Девон, а второй слег с простудой и был уложен в постель самым сэром Оливером, всегда проявлявшим заботу о своих слугах.

В столовой стол уже был накрыт к ужину, а в огромном камине с навесом пылали дубовые поленья, разливая приятное тепло по обширному залу и отбрасывая багровые отблески на развешанные по стенам трофейные клинки, шпалеры и портреты почивших Трессилианов. Услышав шаги хозяина, вошел старый Николас с тяжелым канделябром в руках и водрузил его на стол.

— Вы запоздали, сэр Оливер, — прошамкал слуга, — да и мастера Лайонела все еще нету дома.

Сэр Оливер лишь буркнул что-то невнятное и нахмурился, наступив мокрым сапогом на полено и заставив его зашипеть. Он подумал о Малпаса и проклял безрассудство брата, молча скинув плащ на дубовый сундук у стены, куда уже успел бросить шляпу. Затем он опустился в кресло, и Николас подошел стащить с него сапоги.

Когда с этим было покончено и старый слуга выпрямился, сэр Оливер коротко велел подавать ужин.

— Мастер Лайонел теперь не заставит себя долго ждать, — произнес он. — И дай мне выпить, Ник. Это сейчас нужнее всего.

— Я сварил вам горячего поссета с канарским саком, — объявил Николас. — Нет ничего лучше в морозную зимнюю ночь, сэр Оливер.

Он удалился и вскоре вернулся с оловянным кувшином, от которого поднимался душистый пар. Он застал хозяина в той же позе: тот угрюмо смотрел на огонь, глубоко нахмурился брови. Мысли сэра Оливера все еще вертелись вокруг брата и Малпаса, и тревога эта была столь тяжела, что собственные заботы на миг отступили; он размышлял, не обязан ли он, в конце концов, сделать еще одну попытку образумить юношу. Наконец он со вздохом поднялся и подошел к столу. Вспомнив о больном конюхе, он осведомился у Николаса о его самочувствии. Слуга доложил, что тому ни лучше, ни хуже; тогда сэр Оливер взял кубок и наполнил его до краев дымящимся поссетом.

— Отнеси ему, — велел он. — Нет лучшего лекарства от такой хвори.

Снаружи донесся стук копыт.

— А вот и мастер Лайонел наконец-то, — сказал слуга.

— Должно быть, — согласился сэр Оливер. — Незачем его дожидаться. Здесь есть все, что нужно. Отнеси питье Тому, пока не остыло.

Он намеренно отослал слугу, желая остаться с Лайонелом наедине, ибо твердо решил задать ему хорошую головомойку за глупость. Размышления убедили его, что это стало его прямым долгом ввиду предстоящего отъезда из Пенарроу; и ради блага брата он не собирался щадить его чувств.

Он сделал глубокий глоток из кубка и, ставя его на стол, услышал шаги Лайонела. Дверь распахнулась, и брат замер на пороге.

Сэр Оливер обернулся с грозным видом, готовый обрушить на него заранее продуманную отповедь.

— Итак... — начал он, но осекся. Зрелище, представшее его взору, мгновенно выбило готовые слова из памяти; вместо упрека из груди его вырвался крик ужаса, и он вскочил на ноги: — Лайонел!

Лайонел ввалился в комнату, захлопнул дверь и задвинул засов. Затем он прислонился к ней спиной, глядя на брата. Он был мертвенно-бледен, под глазами залегли глубокие темные круги; обнаженная правая рука была прижата к боку, а пальцы сплошь покрыты кровью, которая все еще сочилась и капала сквозь них. На желтом дублете с правой стороны расплывалось темное пятно, о природе которого сэру Оливеру не пришлось гадать ни секунды.

— Боже милосердный! — вскричал он, бросаясь к брату. — Что случилось, Лал? Кто это сделал?

— Питер Годолфин, — сорвался ответ с губ, искривленных странной усмешкой.

Сэр Оливер не проронил ни слова, но стиснул зубы и сжал кулаки так, что ногти впились в ладони. Затем он обнял юношу, которого любил больше всех на свете, кроме одной-единственной женщины, и с мукой в душе подвел его к огню. Там Лайонел бессильно опустился в кресло, которое только что покинул хозяин.

— Где ты ранен, мальчик? Глубоко ли вошло железо? — спросил Оливер почти с ужасом.

— Ерунда... царапина... Но я потерял уйму крови. Думал, изойду до капли, прежде чем доберусь до дома.

С лихорадочной быстротой сэр Оливер выхватил кинжал и распорол дублет, камзол и рубаху, обнажив белое тело брата. Беглый осмотр — и он перевел дух с облегчением:

— Сущее дитя, Лал! — воскликнул он, чувствуя, как от сердца отлегло. — Скакать верхом, даже не подумав перевязать столь пустяковую рану, и потерять столько крови — пусть даже это дурная кровь Трессилианов! — Он нервно рассмеялся от пережитого испуга. — Посиди здесь, я позову Ника, чтобы помог перевязать эту царапину.

— Нет, нет! — В голосе юноши прозвучал панический страх, и он вцепился в рукав брата. — Ник не должен знать! Никто не должен знать, иначе я погиб!

Сэр Оливер ошеломленно воззрился на него. Лайонел снова скривил губы в странной, испуганной улыбке:

— Я вернул ему долг с лихвой, Нолл, — выдохнул он. — Мастер Годолфин к этой минуте уже так же холоден, как снег, на котором я его оставил.

Внезапный испуг брата и остекленевший взгляд на медленно белеющем лице напугали Лайонела. Он почти бессознательно заметил багровый рубец, проступивший на щеке сэра Оливера по мере того, как краска сходила с его лица, но даже не подумал спросить, откуда он взялся. Собственная беда поглотила его целиком.

— Что ты сказал? — хрипло выдал наконец Оливер.

Лайонел опустил глаза, не в силах выносить становившийся грозным взгляд.

— Он сам напросился, — угрюмо буркнул он в ответ на немой укор, сквозивший во всей напряженной фигуре брата. — Я предупреждал его, чтобы он не вставал у меня на пути. Но сегодня в него словно бес вселился. Он оскорбил меня, Нолл; наговорил такого, чего ни один человек не в силах стерпеть, и... — Он пожал плечами, не договорив.

— Ладно, ладно, — тихо произнес Оливер. — Сперва займемся твоей раной.

— Не зови Ника! — поспешно взмолился юноша. — Неужели ты не понимаешь, Нолл? — пояснил он в ответ на вопросительный взгляд. — Мы дрались почти впотьмах, без свидетелей. Это... — он судорожно сглотнул, — это назовут убийством, пусть даже бой был честным! И если откроется, что это был я... — Он задрожал, взгляд его заметался, губы задергались.

— Я понимаю, — наконец произнес Оливер и с горечью добавил: — Дурак!

— У меня не было выбора! — запротестовал Лайонел. — Он набросился на меня с обнаженной шпагой. Он был пьян в стельку! Я предупредил его, что ждет уцелевшего, если один из нас падет, но он велел мне не беспокоиться о его шкуре. Он осыпал грязной бранью меня, тебя и всех, кто носит нашу фамилию. Он ударил меня плашмя клинком и пригрозил проткнуть на месте, если я не обнажу шпагу для защиты! Какой у меня был выбор? Я не хотел его убивать — Бог свидетель, не хотел, Нолл!

Ни слова не говоря, Оливер повернулся к столику, где стояли медный таз и кувшин. Он налил воды и в том же гробовом молчании принялся промывать рану брата. Рассказ Лайонела делал упреки невозможными — по крайней мере, со стороны Оливера. Ему достаточно было вспомнить, в каком бешенстве он сам скакал за Питером Годолфином; вспомнить, что лишь мысль о Розамунде — лишь забота об их общем будущем — удержала его собственную руку от кровопролития.

Промыв рану, он достал из комода льняное полотно и кинжалом разорвал его на полосы; выдернув несколько нитей, он крест-накрест наложил их на края раны — клинок прошел сквозь грудные мышцы, задев ребра; эти нити должны были ускорить свертывание крови. Затем с поразительной сноровкой и умением, приобретенными за годы морских скитаний, он наложил тугую повязку.

Закончив, он распахнул окно и выплеснул окрашенную кровью воду в темноту. Тряпки, коими обтирал рану, и все прочие следы перевязки он швырнул в огонь. Следовало скрыть любые улики, даже от глаз Николаса. Он ни на йоту не сомневался в преданности старого слуги, но дело было слишком опасным, чтобы допускать малейший риск. Он вполне отдавал себе отчет в справедливости страхов Лайонела: сколь бы честным ни был поединок, дело, свершенное тайком во тьме, закон сочтет заурядным убийством.

Велев Лайонелу завернуться в плащ, сэр Оливер отодвинул засов и поднялся наверх за чистой рубашкой и дублетом для брата. На лестничной площадке он столкнулся со спускавшимся Николасом. Задержав старика расспросами о больном конюхе — внешне рыцарь был уже совершенно спокоен, — он отослал его обратно наверх с вымышленным поручением, которое должно было занять того на некоторое время, а сам пошел за одеждой.

Вернувшись вниз, он помог брату облачиться в сухое платье, стараясь делать как можно меньше движений, дабы не потревожить повязку и не вызвать нового кровотечения, после чего схватил окровавленный дублет, камзол и исполосованную рубашку и тоже бросил их в ненасытное пламя камина.

Когда несколько минут спустя Николас вошел в просторную залу, он застал братьев чинно сидящими за столом. Окажись он лицом к Лайонелу, он непременно заметил бы неладное — хотя бы по смертельной бледности юноши. Но старик не успел даже этого: Лайонел сидел спиной к двери, а сэр Оливер остановил слугу словами, что в его услугах больше не нуждаются. Николас удалился, и братья вновь остались одни.

Лайонел едва притронулся к еде. Его мучила жажда, и он осушил бы весь кувшин с поссе-том, но сэр Оливер удержал его руку, не позволив пить ничего, кроме чистой воды, дабы не разжечь лихорадку. Скупая трапеза — ибо аппетита не было ни у того, ни у другого — прошла в полном молчании. Наконец сэр Оливер поднялся и тяжелыми, медленными шагами, выдававшими мрачное расположение духа, подошел к камину. Он подбросил поленьев в огонь и взял с каминной полки трубку и свинцовую банку с табаком. Задумчиво набив трубку, он щипцами подхватил тлеющий уголек и раскурил зелье.

Вернувшись к столу, он встал над братом и наконец нарушил затянувшуюся тишину:

— Что, — глухо спросил он, — послужило причиной вашей ссоры?

Лайонел вздрогнул и сжался; пальцами он нервно катал хлебный мякиш, не поднимая глаз:

— Я и сам толком не знаю, — пробормотал он.

— Лал, это неправда.

— Что?

— Это ложь. Меня такой отговоркой не проведешь. Ты сам сказал, что предупреждал его не вставать у тебя на пути. О каком пути шла речь?

Лайонел уперся локтями в стол и обхватил голову руками. Ослабевший от потери крови, издерганный душевной бурей, подавленный ужасом содеянного и крушением той страсти, что

привела к сегодняшней трагедии, он не нашел в себе сил скрыть правду. Напротив, ему показалось, что, открывшись брату, он обретет в нем спасительную гавань и защиту.

— Все из-за этой распутницы в Малпасе! — вырвался у него стон, и глаза сэра Оливера гневно сверкнули. — Я считал ее совсем иной! Я был глупцом, слепым глупцом! Я... — он поперхнулся, и рыдание сотрясло его грудь, — я думал, она любит меня! Я готов был жениться на ней, клянусь Богом!

Сэр Оливер негромко выругался сквозь зубы.

— Я верил, что она чиста и невинна, а она... — Он осекся: — Впрочем, кто я такой, чтобы судить ее даже теперь? В том не было ее вины! Это он, этот мерзкий пес Годолфин, совратил ее! Пока он не появился, между нами все было прекрасно! А потом...

— Ясно, — тихо произнес сэр Оливер. — Полагаю, тебе есть за что поблагодарить его, раз он открыл тебе глаза на истинную сущность этой потаскухи. Я хотел предостеречь тебя, мальчик. Но... Быть может, я проявил непростительную мягкость.

— Все было не так! Она не такая...

— Я говорю — такая, а моим словам следует верить, Лайонел. Я не стал бы марать доброе имя женщины без веских причин, уж будь уверен.

Лайонел поднял на него полные отчаяния глаза:

— Господи! — вскричал он. — Я уже сам не знаю, чему верить! Меня швыряет из стороны в сторону, как щепку в бурю!

— Верь мне, — сурово отрезал сэр Оливер, — и оставь сомнения. — Затем он усмехнулся: — Так вот чем втайне тешился наш добродетельный мастер Питер, а? О, людское лицемерие! Нет дна у этой бездны!

Он коротко рассмеялся, вспомнив все те речи о Ральфе Трессилиане, коими сыпал мастер Питер, вещая с видом непорочного схимника. Но смех оборвался на полуслове.

— А знает ли она? — с внезапной тревогой спросил он. — Знает ли эта девка, догадается ли, чья рука сделала это?

— Да... догадается, — отозвался юноша. — Сегодня, когда она насмеялась надо мной и перевозносила его, я бросил ей в лицо, что еду напрямик к нему свести счета. Я как раз направлялся в Годолфин-Корт, когда наткнулся на него в парке.

— Значит, ты снова солгал мне, Лайонел! Ты ведь сказал, что он напал первым!

— Так и было! — мгновенно парировал Лайонел. — Он не дал мне вымолвить ни слова, соскочил с седла и бросился на меня, рыча, точно взбесившийся пес! О, он жаждал этой схватки не меньше моего!

— Но женщина в Малпасе знает правду, — мрачно проговорил сэр Оливер. — И если она заговорит...

— Не заговорит! — вскричал Лайонел. — Она не посмеет ради собственного спасения!

— Пожалуй, ты прав, — с облегчением согласился брат. — Не посмеет и по другим причинам, если подумать. О ней и без того идет такая дурная слава, ее так ненавидят в округе, что узнай люди, будто она стала виновницей этой гибели, они живо припомнят ей старые грехи. Ты уверен, что никто не видел тебя ни по дороге туда, ни на обратном пути?

— Ни единая душа.

Сэр Оливер прошагал через всю комнату и вернулся, затягиваясь трубкой:

— Тогда, полагаю, все обойдется, — произнес он наконец. — Тебе лучше лечь в постель. Я сам отнесу тебя.

Он подхватил юношу своими могучими руками и понес наверх легко, точно младенца. Уложив брата в постель и убедившись, что тот устроился удобно, он спустился вниз, затворил дверь в холл, придвинул тяжелое дубовое кресло к огню и просидел до глубокой ночи, куря и размышляя.

Он сказал Лайонелу, что все обойдется. Для Лайонела — да. Но как быть ему самому с этой страшной тайной на душе? Будь убитый кем-то другим, а не братом Розамунды, дело мало тревожило бы его. Сама гибель Годолфина, надо признать, не вызывала в нем ни малейших терзаний. Годолфин более чем заслужил свой конец и пал бы от руки самого сэра Оливера еще несколько месяцев назад, не будь он братом Розамунды.

В этом-то и крылась горькая, жестокая беда! Ее родной брат пал от руки его брата! Она любила Питера больше всех на свете, после него самого, — точно так же, как он любил Лайонела больше всех, кроме нее. Он слишком хорошо понимал, какая невыносимая боль ждет девушку; он уже сейчас переживал эту боль, разделяя ее заранее, ибо все, что ранило ее, он считал своею собственной раной.

Наконец он поднялся, проклиная распутницу из Малпаса, воздвигшую эту новую чудовищную преграду там, где и без того громоздилось столько препятствий. Он замер, опершись о каминную полку и поставив ногу на кованую решетку, обдумывая дальнейшие шаги. Выход был один: молча нести свое бремя. Он обязан сохранить эту тайну даже от Розамунды. Сердце обливалось кровью при мысли о том, что ему придется лгать ей. Но иного пути не существовало — разве что навсегда отказаться от нее, а на это у него не хватило бы сил.

Приняв решение, он взял свечу и отправился спать.

Глава V

Щит

Утром страшную весть братьям за завтраком принес старый Николас.

Лайонелу следовало бы отлежаться в постели, но он не посмел, опасаясь вызвать подозрения. Его слегка знобило — естественное следствие ранения и кровопотери, — но он скорее радовался этому жару, чем огорчился, ибо тот окрасил румянцем щеки, которые иначе казались бы слишком бледными.

Опираясь на руку брата, он сошел вниз к завтраку из селетки и слабого эля, когда позднее декабрьское солнце едва показалось над горизонтом.

Николас ввалился в комнату с белым как мел лицом и трясущимися руками. Задыхаясь от ужаса, он выложил новость о ночном происшествии, и оба брата притворились потрясенными, ошеломленными и не верящими ушам. Но худшая часть вести старика, истинная причина его дикого волнения, была еще впереди.

— И в округе бают, — вскричал он голосом, в котором сквозь страх звенела ярость, — бают, будто это вы убили его, сэр Оливер!

— Я? — опешил сэр Оливер, уставившись на него.

И в то же мгновение в его сознании, подобно сорвавшейся плотине, всплыли сотни причин, упущенных им из виду до сей минуты, которые неизбежно должны были навести всю округу именно на эту мысль — и только на нее!

— Где ты слышал эту гнусную ложь?

В смятении чувств он даже не стал слушать, что пролепетал Николас. Какая разница, где старик услышал это? К этой минуте обвинение уже слетело с уст каждого жителя округа. Оставался лишь один путь, и ступить на него следовало немедленно — как он поступил однажды в сходных обстоятельствах. Нужно скакать прямо к Розамунде, дабы опередить сплетни, которые непременно донесут до ее слуха. Пошли Господь, чтобы он не опоздал!

Он задержался лишь затем, чтобы натянуть сапоги и схватить шляпу, кинулся на конюшню, вскочил на коня и помчался по тропам и лугам через разделявшую Пенарроу и Годолфин-Корт короткую милю напрямик к цели.

По дороге ему никто не встретился, пока он не влетел во двор поместья Годолфинов. Еще на подъезде до него донесся гул взбудораженных голосов. Но при виде всадника во дворе воцарилась зловещая, напряженная тишина. Там собралось больше дюжины человек, и все взгляды обратились на него — сперва с изумлением и любопытством, а затем с глухой, наливающейся злобой.

Он прыгнул с седла и замер, ожидая, пока один из трех конюхов Годолфина, замеченных в толпе, примет поводья. Видя, что никто не двигается с места, он гаркнул:

— Что застыли? Здесь есть кому принять коня? Эй, ты, поди сюда и держи повод!

Окликнутый конюх заколебался, но под тяжелым, властным взглядом сэра Оливера угрюмо поплелся исполнять приказ. По толпе пробежал ропот. Сэр Оливер метнул на собравшихся испепеляющий взор, и всякий ропот мгновенно стих.

В этой тишине он взбежал по ступеням и вошел в усланный камышом холл. Едва он скрылся за дверью, снаружи с новой силой вспыхнул яростный гомон. Но рыцарю не было до него дела.

В холле он нос к носу столкнулся со слугой, который испуганно отпрянул, уставившись на гостя точно так же, как люди во дворе. Сердце сэра Оливера упало: стало ясно, что он все же опоздал и молва опередила его.

— Где твоя хозяйка? — спросил он.

— Я... я доложу ей о вас, сэр Оливер, — дрожащим голосом пробормотал лакей и скрылся за дверью справа.

Сэр Оливер постоял секунду, постукивая хлыстом по голенищу сапога; лицо его побледнело, между бровей пролегла глубокая складка. Слуга появился снова, тщательно притворив за собой дверь:

— Мистресс Розамунда велит вам уйти, сэр. Она не станет вас принимать.

Мгновение сэр Оливер вглядывался в лицо слуги — вернее, делал вид, что вглядывается, ибо вряд ли вообще замечал человека перед собой. Затем, не говоря ни слова, шагнул прямо к двери. Слуга решительно заступил ему дорогу, прижавшись спиной к косяку:

— Сэр Оливер, моя госпожа не желает вас видеть!

— Прочь с дороги! — прорычал рыцарь с привычным властным презрением, и когда слуга, исполняя долг, попытался удержать позицию, сэр Оливер схватил его за ворот куртки, отшвырнул в сторону и вошел в комнату.

Она стояла посреди покоя, одетая — по злой иронии судьбы — во все белое, подвенечное, хотя платье ее не могло сравниться белизной со смертельной бледностью лица. Глаза казались двумя темными провалами, застывшими и скорбными, когда она вперила взор в непрошеного гостя. Губы ее приоткрылись, но она не вымолвила ни слова. Она лишь смотрела на него с таким ужасом, который вмиг сокрушил всю его дерзость и остановил властный шаг.

Наконец он заговорил сам:

— Я вижу, до тебя уже дошла ложь, гуляющая по округе, — произнес он. — Это само по себе скверно. Но я вижу, что ты поверила ей, — и это еще хуже.

Она продолжала глядеть на него с холодным, леденящим отвращением — эта девушка, которая еще два дня назад прижималась к его груди, глядя снизу вверх с безграничным доверием и обожанием.

— Розамунда! — вскричал он, сделав шаг вперед. — Розамунда! Я пришел сказать тебе, что все это ложь!

— Вам лучше уйти, — произнесла она, и в ее голосе прозвучала нота, заставившая его содрогнуться.

— Уйти? — тупо повторил он. — Ты велишь мне уйти? Ты даже не выслушаешь меня?

— Я соглашалась слушать вас не раз; отказывалась слушать тех, кто мудрее меня, и пренебрегала их предостережениями. Между нами все сказано. Я молю Бога, чтобы вас схватили и вздернули на виселице.

Он побелел до самых губ и впервые в жизни познал истинный страх, чувствуя, как могучие ноги подкашиваются под ним.

— Пусть хватают и вешают, раз ты способна верить в такое! Никакая казнь не ранит меня больше, чем ты ранишь сейчас; да и не сможет виселица лишить меня чего-либо, чем я дорожил, раз твоя вера в меня рушится от первой же сплетни деревенских кумушек!

Он увидел, как бескровные губы девушки искривились в страшной усмешке:

— Полагаю, здесь нечто большее, чем сплетни, — ответила она. — Здесь то, чего никакая ваша ложь вовек не сможет скрыть.

— Моя ложь? — вскричал он. — Розамунда, клянусь своей честью: я неповинен в гибели Питера! Пусть Господь испепелит меня на этом самом месте, если это не правда!

— Похоже, — раздался резкий голос у него за спиной, — вы боитесь Господа ничуть не больше, чем всего остального.

Он круто обернулся и встретился лицом к лицу с сэром Джоном Киллигру, вошедшим следом за ним.

— Вот как, — медленно протянул сэр Оливер, и глаза его сделались твердыми и блестящими, точно агаты. — Значит, это ваших рук дело! — И он указал рукой на Розамунду, давая понять, о чем говорит.

— Моих рук дело? — переспросил сэр Джон. Он закрыл дверь и шагнул вперед. — Сэр, похоже, ваша дерзость, ваше бесстыдство переходят всякие границы! Ваша...

— Довольно! — оборвал сэр Оливер и с такой силой грохнул кулаком по столу, что посуда зазвенела. Внезапный приступ ярости захлестнул его: — Оставьте пустые слова дуракам, сэр Джон, а упреки — тем, кто способен защитить их с оружием в руках!

— Да, вы говорите как истинный душегуб! Вы являетесь сюда и бесчинствуете в доме покойника — в доме, на который сами же обрушили проклятие скорби и смертоубийства...

— Замолчите, говорю вам, иначе здесь прольется новая кровь!

Голос его гремел, точно раскат грома, вид был ужасающ. И сколь бы смелым человеком ни был сэр Джон, он невольно отшатнулся.

В то же мгновение сэр Оливер вновь овладел собой. Он резко повернулся к Розамунде:

— Ах, прости меня! — взмолился он. — Я безумен... я обезумел от муки от этого чудовищного навета! Я не любил твоего брата, это правда. Но я свято исполнил все, в чем поклялся тебе! Я сносил от него удары и улыбался; вчера на глазах у всех он нанес мне жестокое оскорбление, рассек лицо хлыстом — след от этого удара все еще горит на моей щеке! Человек, который скажет, что я не имел права убить его за это на месте, — лжец и лицемер! И все же мысли о тебе, Розамунда, мысли о том, что он твой брат, оказалось довольно, чтобы погасить ярость, с коей я остался один. И теперь, когда по какому-то зловещему року он встретил свою смерть, наградой за все мое терпение, за всю любовь к тебе стало то, что меня клеймят убийцей, а ты — ты веришь этому обвинению!

— У нее нет выбора, — проскрежетал Киллигру.

— Сэр Джон, — воскликнул рыцарь, — умоляю вас, не вмешивайтесь в ее выбор! То, что вы верите в это, лишь доказывает, что вы глупец, а советы глупца — гнилая опора в любые времена! Помилуй Бог! Допустим, я пожелал смыть кровью нанесенное мне оскорбление; неужели вы так плохо знаете людей и меня в особенности, чтобы вообразить, будто я стану вершить месть из-за угла, тайком, накидывая себе на шею петлю палача? Хороша месть, клянусь Создателем! Разве так я поступил с вами, сэр Джон, когда вы распустили свой язык, в чем сами же и повинились? Свет небесный, очнитесь же, рассудите здраво: разве это похоже на правду? Полагаю, вы куда более опасный противник, нежели бедный Питер Годолфин, однако, требуя сатисфакции от вас, я действовал открыто и честно, как привык всегда! Когда мы скрестили клинки в вашем парке в Арвенаке, мы сделали это при свидетелях, по всем правилам чести, дабы уцелевший не имел хлопот с мировыми судьями. Вы прекрасно знаете меня и знаете, как я владею оружием. Разве не так же я поступил бы с Питером, если бы посягнул на его жизнь? Разве не вызвал бы я его открыто, чтобы сразить без спешки, когда заблагорассудится, не рискуя головой и не боясь чьих-либо упреков?

Сэр Джон глубоко задумался. Логика этих слов была неопровержима и прозрачна, как лед, а рыцарь из Арвенака вовсе не был дураком. Но пока он стоял, хмуясь в нерешительности после этой пламенной отповеди, ответ сэру Оливеру дала Розамунда:

— Вы говорите, что не боялись упреков?

Он повернулся к ней и осекся. Он понял, какая мысль терзала ее душу.

— Ты хочешь сказать, — медленно, тихо произнес он с безмерным укором в голосе, — будто я настолько низок и подл, что совершил тайком то, чего не посмел ради тебя совершить открыто? Вот что ты думаешь! Розамунда! Мне стыдно за тебя — стыдно, что ты способна помыслить такое о человеке, которого... которого ты клялась любить!

Холодность девушки растаяла без следа. Под бичом его горьких, презрительных слов гнев взметнулся в ней с новой силой, на миг затмив даже боль утраты:

— Лживый предатель! — вскричала она. — Есть люди, слышавшие, как ты поклялся убить его! Мне передали твои собственные слова! А от места, где он упал, по снегу до самых твоих дверей тянулся кровавый след! Ты и теперь станешь лгать?!

Они увидели, как краска окончательно сбежала с его лица. Увидели, как руки его бесильно опустились вдоль тела, а глаза расширились от внезапного, неподдельного ужаса.

— К... кровавый след? — ошеломленно пробормотал он.

— Да, ответьте на это! — вмешался сэр Джон, мгновенно избавившись от сомнений при этом неопровержимом напоминании.

Сэр Оливер вновь повернулся к Киллигру. Вмешательство рыцаря вернуло ему мужество, отнятое словами Розамунды. С мужчиной он мог сражаться; с мужчиной не было нужды взвешивать слова.

— Я не могу ответить на это, — произнес он твердо, тоном, отмечающим любые домыслы. — Раз вы говорите, что он был, значит, так оно и есть. Но в конце концов, что это доказывает? Разве это делает бесспорным, что именно я убил его? Разве дает это право женщине, любившей меня, считать меня убийцей и подлецом?

Он помолчал и вновь поглядел на нее с безграничным упреком во взоре. Она бессильно опустилась в кресло и тихо раскачивалась, ломая пальцы, а лицо ее превратилось в маску невыразимой муки.

— Неужели вы можете предположить иное объяснение, сэр? — спросил сэр Джон, и в голосе его вновь прозвучало сомнение.

Сэр Оливер уловил эту ноту, и сдавленный стон вырвался из его груди:

— О Боже милосердный! — вскричал он. — В вашем голосе звучит сомнение, а в ее голосе его нет! Вы были моим врагом и лишь недавно заключили со мной шаткое перемирие, и все же вы сомневаетесь в моей вине! А она... та, что клялась мне в любви, не оставила для сомнений ни малейшего места!

— Сэр Оливер, — глухо отозвалась девушка, — то, что вы совершили, разбило мое сердце. И все же, зная, какими оскорблениями вас довели до этого, я, быть может, смогла бы простить вас — пусть даже никогда больше не стала бы вашей женой; я простила бы вас, говорю я, если бы не вся низость вашего нынешнего заpiresательства!

Он поглядел на нее белым как полотно лицом, затем круто развернулся и зашагал к выходу. У самых дверей он остановился:

— Ваше желание предельно ясно, — произнес он. — Вы хотите, чтобы я предстал перед судом за это деяние. — Он горько усмехнулся: — Кто же выступит моим обвинителем перед мировыми судьями? Вы, сэр Джон?

— Если мистресс Розамунда пожелает этого, — ответил рыцарь.

— Ха! Да будет так! Но не думайте, будто я из тех, кто позволит отправить себя на виселицу на основании столь жалких улик, коих довольно этой леди! Если явится обвинитель и станет блять о кровавом следе у моих дверей и словах, сказанных мною вчера в гневе, я приму суд — но это будет Божий суд, поединок между обвинителем и мной! Это мое законное право, и я потребую его до последней капли! Сомневаетесь ли вы в том, каков будет приговор Господень? Я торжественно призову Его рассудить меж нами! Если я повинен в этом грехе — пусть десница моя отсохнет, едва я ступлю на ристалище!

— Я сама обвиню вас, — раздался мертвый голос Розамунды. — И если угодно, вы можете потребовать судебного поединка со мной и зарезать меня точно так же, как зарезали его.

— Да простит вас Бог, Розамунда! — вымолвил сэр Оливер и вышел вон.

Он возвращался домой с адом в душе. Он не знал, что сулит ему будущее, но обида на Розамунду была так велика, что для отчаяния в его сердце не оставалось места. Они не вздернут его на виселице! Он будет драться с ними зубами и когтями — и при этом Лайонел не пострадает. Об этом он позаботится.

Затем мысли о брате несколько изменили его настроение. Как легко он мог бы сокрушить их обвинения! Как легко мог бы поставить эту гордячку на колени, молящей о прощении! Одного его слова было бы довольно — но он не смел произнести его, дабы не погубить брата.

В тихие, глухие часы той ночи, лежа без сна в постели и глядя на вещи без гнева, он ощутил, как меняется его душевный настрой. Он мысленно перебрал все улики, приведшие ее к страшному выводу, и был вынужден признать, что она имела на то известные основания. Если она была несправедлива к нему, то он сам оказался несправедлив к ней еще больше. Годами она слушала ядовитые речи, которые распускали о нем враги — а его высокомерие нажило их немало. Она отвергала любые наветы, потому что любила его; ее отношения с братом испортились из-за этой любви — и вот теперь все это обрушилось на нее с сокрушительной силой.

Раскаяние сыграло свою зловещую роль в ее убежденности, будто Питер Годолфин пал от его руки. Ей, должно быть, казалось, что своим упрямством, своей любовью к человеку, которого ненавидел ее брат, она сама отчасти стала пособницей этого убийства.

Теперь он ясно видел это и судил ее мягче. Она должна была быть больше чем человеком, чтобы не чувствовать того, что чувствовала сейчас; а поскольку сила разочарования всегда равна силе прежнего упоения, было вполне естественно, что теперь она яростно ненавидит того, кого столь же яростно любила.

Это был тяжкий крест. И все же ради Лайонела он обязан был нести его со всем мужеством, на какое был способен. Нельзя приносить Лайонела в жертву собственному эгоизму за поступок, который он не мог не считать оправданным. Он был бы последним подлецом, если бы даже помыслил о подобном пути к спасению.

Но если сам он об этом не думал, то Лайонел думал непрестанно и все эти дни жил в паническом страхе — страхе, лишившем его сна и так раздувшем лихорадку, что на второй день после трагедии юноша стал похож на призрак: с запавшими глазами и осунувшимся лицом. Сэр Оливер принялся увещевать его, постаравшись вдохнуть в него бодрость. К тому же в тот день пришли вести, способные развеять его ужас: мировые судьи в Труро были извещены о случившемся и о выдвинутых обвинениях, но наотрез отказались давать делу ход.

Причиной тому был мастер Энтони Бейн — тот самый судья, на чьих глазах сэру Оливеру нанесли оскорбление. Он заявил, что все происшедшее с мастером Годолфином было заслуженной карой за его собственную спесь и наглость, и объявил, что совесть честного человека не позволяет ему выписать ордер на арест констеблю.

Сэр Оливер узнал об этом от второго свидетеля — приходского священника, который сам претерпел немало грубости от Годолфина и, будучи служителем Евангелия и мира, тем не менее всецело поддержал решение судьи (по крайней мере, на словах).

Сэр Оливер поблагодарил его, заметив, что со стороны сэра Эндрю и мастера Бейна весьма благородно проявить подобное понимание, но вновь повторил, что не причастен к убийству, сколь бы ни свидетельствовали против него улики.

Однако два дня спустя, когда до него дошли слухи, что вся округа кипит возмущением против мастера Бейна из-за его отказа арестовать рыцаря, сэр Оливер призвал священника и тотчас поскакал вместе с ним в дом мирового судьи в Труро, дабы представить доказательство, которое утаил от Розамунды и сэра Джона Киллигру.

— Мастер Бейн, — произнес он, когда все трое заперлись в библиотеке джентльмена, — я слышал о том справедливом и мужественном решении, которое вы вынесли, и прибыл поблагодарить вас и выразить свое восхищение вашей твердостью.

Мастер Бейн сдержанно поклонился. От природы он был человеком строгим и важным.

— Но дабы ваш благородный поступок не повлек за собой дурных последствий для вас самих, я прибыл представить вам доказательство того, что вы поступили еще правильнее, нежели полагали, и что я не являюсь убийцей.

— Вы не убивали его? — в изумлении воскликнул мастер Бейн.

— Уверяю вас, я не стану прибегать к уловкам, в чем вы сами сейчас убедитесь. У меня есть доказательство, и я пришел явить его сейчас, пока время не сделало это невозможным. Я не желаю огласки сию же минуту, мастер Бейн, но прошу вас составить бумагу, которая смогла бы удовлетворить суд в будущем, если делу дадут ход — а это весьма вероятно.

Это был тонкий и расчетливый шаг. Улика, которой не было на нем, имелась на теле Лайонела; но время сотрет этот след, и если огласить свидетельство позже, искать виновного в другом месте будет уже поздно.

— Уверяю вас, сэр Оливер, что даже если бы вы убили его после нанесенного оскорбления, я не счел бы ваш поступок чем-то большим, нежели справедливой карой зарвавшегося наглецу.

— Я знаю, сэр. Но дело обстояло иначе. Одной из главных улик против меня — пожалуй, самой веской — называют то, что от тела Годолфина до моих дверей тянулся кровавый след.

Собеседники обратились в слух. Священник не сводил с рыцаря немигающих глаз.

— Из этого с неизбежностью следует, что убийца был ранен в схватке. Кровь на снегу никак не могла принадлежать жертве — следовательно, она текла из жил нападавшего. А в том, что убийца получил ранение, нет сомнений, ибо клинок Годолфина был обагрён кровью. И вот теперь вы, мастер Бейн, и вы, сэр Эндрю, станете свидетелями того, что на моем теле нет ни единой свежей царапины! Я разденусь перед вами донага, в чем мать родила, и вы воочию убедитесь в этом. После чего я попрошу вас, мастер Бейн, заверить сие бумагой. — С этими словами он сбросил дублет. — Но поскольку я не желаю доставлять удовольствия этим горлопанам, обвиняющим меня, дабы не показать, будто я их боюсь, я прошу вас, джентльмены, сохранить эту тайну до тех пор, пока обстоятельства не вынудят предать ее гласности.

Они признали разумность его предложения и согласились, хотя в душе оставались полны сомнений. Но когда осмотр был завершен, оба джентльмена застыли в полнейшем ошеломлении, видя, как рушатся все их прежние предположения.

Разумеется, мастер Бейн составил требуемый документ, скрепив его подписью и печатью, а сэр Эндрю приложил свою подпись и печать в качестве свидетеля.

С этим пергаментом, должным послужить ему надежным щитом в случае любой беды, сэр Оливер окрыленным возвращался домой. Ибо, едва минует опасность для брата, этот пергамент ляжет перед глазами сэра Джона Киллигру и Розамунды — и все еще может устроиться к лучшему.

Глава VI

Джаспер Ли

Если то Рождество в Годолфин-Корте было исполнено скорби, то в Пенарроу оно оказалось ничуть не отраднее.

Сэр Оливер сделался мрачен и молчалив: он подолгу сидел, уставившись в огонь камина, и вновь и вновь прокручивал в памяти каждое слово свидания с Розамундой — то пылая горькой обидой за ее готовность поверить в его вину, то с мягкой, щемящей грустью находя оправдание неопровержимости улик, свидетельствовавших против него.

Его единокровный брат теперь неслышно ступал по дому, словно стараясь стать невидимкой и не смея тревожить угрюмую задумчивость рыцаря. Ему была прекрасно известна ее причина. Он знал обо всем, что произошло в Годолфин-Корте; знал, что Розамунда навсегда прогнала сэра Оливера, и сердце его сжималось от мысли, что он оставил брата нести бремя, по праву принадлежавшее его собственным плечам.

Эта мысль так извела его, что однажды вечером в порыве раскаяния он не выдержал.

— Нолл, — произнес он, остановившись подле кресла брата в озаренном отблесками пламени полумраке и положив руку ему на плечо, — не лучше ли нам открыть правду?

Сэр Оливер быстро вскинул голову, нахмурившись:

— Ты с ума сошел? — отрезал он. — Правда приведет тебя на виселицу, Лал.

— Быть может, и нет. Но в любом случае ты страдаешь от чего-то худшего, чем петля. О, я наблюдал за тобой каждый час всю эту неделю и знаю, какая боль терзает тебя. Это несправедливо. — И он с жаром повторил: — Нам лучше сказать правду!

Сэр Оливер грустно улыбнулся. Он протянул руку и сжал ладонь брата:

— С твоей стороны благородно предложить такое, Лал.

— И вполнину не так благородно, как с твоей — нести все муки за поступок, совершенный мною!

— Пустое! — Сэр Оливер нетерпеливо пожал плечами; взгляд его оторвался от лица Лайонела и снова обратился к огню: — В конце концов, я смогу сбросить это бремя, когда пожелаю. А такая уверенность способна поддержать человека в любом испытании.

Он произнес эти слова жестким, насмешливым тоном, и Лайонел похолодел. Он долго стоял в молчании, прокручивая их в голове и размышляя над этой зловещей загадкой. Он порывался напрямик спросить брата, что именно означает сие обескураживающее заявление, но духу не хватило. Он испугался, что сэр Оливер лишь подтвердит его худшие догадки.

Постояв еще немного, он отступил и вскоре отправился в постель. Долгие дни эта фраза неотвязно сверлила его мозг: «Я смогу сбросить это бремя, когда пожелаю». В нем росла уверенность: сэр Оливер имел в виду, что черпает силы в знании того, что стоит ему заговорить — и он очистит свое имя. Лайонел не мог поверить, что брат действительно сделает это; он был почти уверен, что сэр Оливер и не помышляет о предательстве.

И все же... а вдруг он передумает? Вдруг бремя станет непосильным, тоска по Розамунде — нестерпимой, а мука оттого, что в ее глазах он навсегда остался братоубийцей, — невыносимой?

Душа Лайонела содрогалась при мысли о последствиях для него самого. Его страхи обнажили его истинную сущность. Он осознал, насколько неискренним было его недавнее благородное предложение открыть правду; понял, что то был лишь минутный эмоциональный порыв, о котором — прими брат его жертву — он горько пожалел бы в ту же секунду. И вслед за этим пришла мысль: если сам он подвержен слепым душевным порывам, столь предательски расходящимся с истинными желаниями, разве не подвержены им все люди? Не может ли

и его брат пасть жертвой минутного помрачения, когда в приступе отчаяния бремя покажется слишком тяжким и он в бунте сбросит его с плеч?

Лайонел пытался убедить себя, что брат выкован из железа и никогда не теряет самообладания. Но против этого память услужливо подсказывала: то, что было в прошлом, не дает гарантий на будущее; пределы терпения есть у каждого человека, сколь бы силен он ни был, и вовсе не исключено, что предел сэра Оливера в этой истории уже близок.

Случись такое — в каком положении окажется он сам? Ответ рисовал картину, вынести которую его духу было не под силу. Опасность предстать перед судом и принять высшую меру наказания будет теперь во сто крат страшнее, чем если бы он признался сразу. Расскажи он все в ту же ночь, его словам поверили бы: он слыл человеком безупречной чести, и его слово имело вес. Но теперь ему никто не поверит! Все решат, что его молчание и готовность допустить несправедливое обвинение брата свидетельствуют о трусости и бесчестье, а раз он поступил так, значит, не имел никаких оправданий своему преступлению. Он не просто погибнет — он погибнет с несмываемым позором, презираемый всеми благородными людьми, став жалким отродьем, о чьей смерти никто не уронит и слезинки!

Так он пришел к ужасающему выводу: пытаюсь спастись, он лишь затягивал петлю на собственной шее все туже. Стоит Оливеру раскрыть рот — и он погиб. И он вновь возвращался к вопросу: где гарантия, что Оливер не заговорит?

Страх этот, сперва возникавший лишь изредка, стал преследовать его денно и ночно; и хотя лихорадка отпустила его, а рана полностью затянулась, он оставался бледен, худ и изможден. Потайной ужас, терзавший душу, сквозил в каждом его взгляде. Он сделался нервным, вздрагивал от малейшего шороха и жил в непрестанном недоверии к Оливеру, что выливалось в странную раздражительность, вспыхивавшую по любому поводу.

Войдя однажды пополудни в столовую — излюбленное пристанище сэра Оливера в Пенарроу, — Лайонел застал брата в той же привычной позе: упершись локтем в колено и подперев подбородок ладонью, тот неподвижно смотрел на огонь. Это оцепенение сделалось настолько постоянным, что действовало на взвинченные нервы Лайонела как яд; ему стало казаться, будто в этой апатии кроется расчетливый, немой упрек, направленный против него самого.

— Что ты вечно сидишь у огня, точно старая карга? — проворчал он, давая наконец выход копившемуся раздражению.

Сэр Оливер обернулся с кротким изумлением во взоре. Затем взгляд его переместился на высокие окна:

— Идет дождь, — ответил он.

— Раньше никакой дождь не мог загнать тебя к очагу! Но в дождь ли, в ясную ли погоду — все едино: ты носа не кажешь за порог!

— А зачем? — с той же кротостью спросил сэр Оливер, хотя между его темными бровями залегла складка недоумения. — Неужто ты думаешь, мне приятно ловить на себе косые взгляды и видеть, как люди шепчутся за моей спиной, осыпая меня проклятиями?

— Ха! — резко выкрикнул Лайонел, и ввалившиеся глаза его внезапно сверкнули яростью. — Вот до чего дошло! Сперва ты добровольно взял вину на себя, чтобы спасти меня, а теперь попрекаешь этим!

— Я?! — вскричал сэр Оливер, опешив.

— Сами твои слова — попрек! Думаешь, я не понимаю, какой смысл в них заложен?!

Сэр Оливер медленно поднялся, глядя на брата. Он покачал головой и горько усмехнулся:

— Лал, Лал! Рана совсем затуманила твой разум, мальчик. В чем я тебя упрекнул? Какой тайный смысл почудился тебе в моих словах? Пойми их правильно: выходить из дому для меня значит лишь ввязываться в новые драки, ибо терпение мое на исходе, а сносить косые взгляды и шепотки я не намерен. Вот и все.

Он подошел и положил руки на плечи брата. Держа его на расстоянии вытянутой руки, он внимательно вглядывался в его лицо, пока Лайонел опускал голову, чувствуя, как краска стыда заливают щеки.

— Милый мой дуралей! — произнес старший брат и легонько встряхнул его. — Что с тобой творится? Ты бледен, исхудал и сам на себя не похож. У меня есть мысль: я снаряжу корабль, и ты поплывешь со мной в мои прежние охотничьи угодья. Там — настоящая жизнь, которая вернет тебе бодрость и вкус к бытию, да, пожалуй, и мне тоже. Что скажешь?

Лайонел вскинул голову, глаза его блеснули. Но тут же в голову пришла мысль — столь подлая, что краска вновь хлынула ему в лицо от жгучего стыда. И все же мысль эта вцепилась намертво: если он уплывет вместе с Оливером, люди скажут, что он был сообщником брата в преступлении!

Он знал — по многочисленным намекам, брошенным в разговорах и оставленным им без возражений, — что в округе крепла молва о вражде, вспыхнувшей между ним и сэром Оливером из-за трагедии в Годолфин-парке. Его бледный вид и ввалившиеся глаза лишь укрепляли всеобщее мнение, будто грех брата тяжким грузом давит на чистую душу юноши. Его всегда знали как кроткого, доброго малого, во всем противоположного буйному сэру Оливеру, и люди решили, что сэр Оливер в своей растущей жестокости дурно обходится с младшим братом за то, что тот не желает покрывать злодеяние.

Вследствие этого к Лайонелу повсюду проявляли глубокое сочувствие. Согласись он на предложение Оливера — и он разом разрушит все это!

Он сполна осознавал всю мерзость подобной мысли и ненавидел себя за нее. Но стряхнуть ее власть не мог. Она оказалась сильнее его воли.

Брат заметил это колебание и, истолковав его по-своему, подвел Лайонела к камину и усадил в кресло:

— Послушай, — произнес он, опускаясь напротив. — На рейде внизу, близ Смитика, стоит отличный корабль. Ты наверняка видел его. Его капитан — отчаянный головорез по имени Джаспер Ли, которого в любой день можно застать в кабаке в Пеникумвике. Я знаю его со старых времен: и его, и его посудину можно нанять без труда. Он готов на любое дело — от отправки испанцев на дно до работоторговли, и если предложить хорошую цену, мы купим его с потрохами. У него такое брюхо, которое переварит что угодно, лишь бы пахло золотом.

Итак, корабль и капитан уже есть; остальное обеспечу я: команду, припасы, пушки, и к концу марта мы увидим, как мыс Лизард тает за кормой. Что скажешь, Лал? Это ведь куда лучше, чем киснуть от тоски в этом мрачном склепе!

— Я... я подумаю, — ответил Лайонел, но столь вяло, что весь разгоревшийся энтузиазм сэра Оливера вмиг угас, и о плавании больше не заговаривали.

Однако Лайонел не отбросил эту мысль окончательно. Если, с одной стороны, она отталкивала его, то с другой — влекла против воли. Дошло до того, что он завел привычку ежедневно наведываться верхом в Пеникумвик; там он сошелся с этим тертым, покрытым шрамами авантюристом, о котором говорил сэр Оливер, и часами слушал небылицы о чудесах дальних морей — многие из которых были слишком чудесны, чтобы оказаться правдой.

Но однажды в начале марта мастер Джаспер Ли огорошил его вестью совсем иного рода, которая вмиг выбила из головы Лайонела всякий интерес к походам на Испанский Мэйн. Моряк вышел вслед за собиравшимся уезжать юношей на крыльцо трактира и придержал стремя, когда тот сел в седло:

— Слово на ушко, добрый мастер Трессилиан, — вкрадчиво проговорил он. — Знаете ли вы, какая гроза собирается над головой вашего брата?

— Над моим братом?

— Именно — касательно гибели мастера Питера Годолфина на то Рождество. Видя, что мировые судьи сами и пальцем не пошевелият, кое-кто подал прошение наместнику Корнуолла,

дабы тот приказал им выписать ордер на арест сэра Оливера по обвинению в душегубстве. Но судьи отказались подчиниться его светлости, заявив, что получили полномочия от самой королевы и в таких делах держат ответ лишь перед Ее Величеством. А теперь до меня дошел слух, будто прошение полетело в Лондон к самой королеве с мольбой приказать судьям исполнить долг либо сложить с себя сан!

Лайонел судорожно перевел дыхание и расширившимися глазами воззрился на моряка, не в силах вымолвить ни слова.

Джаспер прижал палец к носу, и в глазах его мелькнула хитринка:

— Я подумал, надо бы предупредить вас, сэр, чтобы сэр Оливер успел позаботиться о себе. Моряк он первостатейный, а таких на дороге не найдешь.

Лайонел выхватил кошелек из кармана и, даже не заглянув внутрь, швырнул его в готовую ладонь матроса с невнятным словом благодарности.

Домой он скакал в полубезумном ужасе. Свершилось! Удар вот-вот падет, и его брат будет наконец вынужден заговорить!

В Пенарроу его ждал новый удар: от старого Николаса он узнал, что сэра Оливера нет дома — он уехал верхом в Годолфин-Корт.

Первая мысль, подброшенная паникой Лайонела, была о том, что весть уже дошла до сэра Оливера и тот немедленно начал действовать; ибо он не мог представить, чтобы брат отправился в Годолфин-Корт по какому-либо иному поводу.

Однако страхи его были напрасны. Сэр Оливер, не в силах более выносить сложившееся положение, поехал туда, дабы представить Розамунде доказательство своей невиновности, которым заблаговременно запасся. Теперь он мог сделать это, не опасаясь навредить Лайонелу.

Впрочем, поездка оказалась совершенно бесплодной. Девушка наотрез отказалась принять его; и хотя с несвойственным ему смирением он уговорил слугу передать ей самую настойчивую мольбу, ему все равно было отказано. Он вернулся в Пенарроу убитый горем и застал брата, ожидавшего его в лихорадочном нетерпении.

— Ну? — набросился на него Лайонел. — Что ты теперь будешь делать?

Сэр Оливер исподлобья взглянул на него; брови его были грозно сдвинуты в такт мрачным мыслям:

— Что делать? О чем ты толкуешь? — буркнул он.

— Неужели ты не слышал? — И Лайонел выложил ему новость.

Выслушав, сэр Оливер долго и пристально смотрел на него, затем сжал губы и с силой ударил себя по лбу:

— Вот оно что! — вскричал он. — Так вот почему она отказалась меня принять! Неужто она решила, будто я приехал молить о пощаде? Могла ли она подумать такое?! Могла ли?!

Он зашагал к камину и со злостью пнул поленья сапогом:

— О, это слишком низко! Но без сомнения, это ее рук дело!

— Что же ты сделаешь? — настаивал Лайонел, не в силах сдержать терзавший его главный вопрос, и голос его сорвался.

— Что сделаю? — Сэр Оливер обернулся через плечо. — Лопну этот пузырь, клянусь небесами! Положу этому конец, посрамлю их и заставлю сгореть от стыда!

Он бросил эти слова с такой яростью и злобой, что Лайонел отшатнулся, решив, будто эта ярость направлена против него самого. Он бессильно опустил в кресло — от внезапного страха колени его подогнулись. Значит, его худшие предчувствия сбылись! Этот брат, бахвалившийся безграничной любовью к нему, не нашел в себе сил выдержать испытание до конца. И все же подобный поступок настолько не вязался с натурой Оливера, что сомнение все еще теплилось в груди юноши:

— Ты... ты откроешь им правду? — выдавил он слабым, дрожащим голосом.

Сэр Оливер повернулся и внимательно поглядел на него:

— Ради всего святого, Лал, что за чушь опять лезет тебе в голову? — почти грубо спросил он. — Открыть правду? Разумеется — но лишь в том, что касается меня самого! Ты ведь не думаешь, будто я скажу, что это сделал ты? Неужто ты считаешь меня способным на такое предательство?!

— А какой же еще есть выход?

Сэр Оливер объяснил, в чем дело. Это объяснение принесло Лайонелу мгновенное облегчение. Но облегчение оказалось призрачным. Дальнейшие размышления породили новый, еще более страшный ужас.

Ему пришло в голову, что если сэр Оливер снимет обвинения с себя, тень неизбежно падет на него самого. В панике он непомерно раздул опасность, которая сама по себе была ничтожно мала. В его глазах риск перестал быть риском — он превратился в верную и неизбежную гибель. Если сэр Оливер предъявит доказательство того, что кровавый след тянулся не от его ран, все неминуемо решат, что кровь принадлежала Лайонелу! С таким же успехом сэр Оливер мог бы выложить всю правду сразу, ибо люди не преминут сделать этот очевидный вывод!

Так рассуждал он в безумии страха, считая себя окончательно погибшим.

Пойди он с этими страхами к брату или сумеи обуздать их настолько, чтобы прислушаться к голосу разума, ему доказали бы, сколь далеки его домыслы от реальности. Оливер показал бы ему это, объяснив, что с крушением обвинений против него никто не станет выдвигать новых обвинений, что ни малейшего подозрения на Лайонела никогда не падало и упасть не может.

Но Лайонел не посмел пойти к брату. В глубине души он стыдился своей паники; в глубине души он знал, что он трус и подлец. Он ясно видел все уродство своего эгоизма, но, как и прежде, не нашел в себе сил победить его. Короче говоря, любовь к себе оказалась сильнее любви к брату — или к двадцати братьям вместе взятым.

На следующий день — ненастный, ветреный день конца марта — он вновь сидел в кабаке в Пенникумвике в обществе Джаспера Ли. План созрел в его голове как единственный оставшийся выход. Накануне брат обмолвился, что раз Розамунда отказывается его принять, он отправится со своими доказательствами к Киллигру. Через Киллигру он пробьется к ней, заявил он, и заставит ее пасть на колени, моля о прощении за нанесенную обиду и проявленную жестокость.

Лайонел знал, что Киллигру сейчас в отъезде; но возвращение его ожидали к Пасхе, а до Пасхи оставалась всего неделя. Следовательно, времени на действия было в обрез — совсем мало времени, чтобы исполнить замысел, родившийся в его черных мыслях. Он проклинал себя за этот план, но держался за него со всем упрямством слабой натуры.

Однако, когда он оказался лицом к лицу с Джаспером Ли в крошечной кабацкой комнатке за выскобленным добела сосновым столом, мужество изменило ему, и он не посмел выложить предложение сразу. Они пили херес, щедро одобренный бренди по заказу Лайонела вместо обычного подогретого эля. Лишь осушив почти пинту этого пойла, Лайонел почувствовал в себе достаточно дерзости, чтобы заговорить о своем мерзком деле.

В голове его звенели слова, сказанные когда-то братом при первом упоминании имени Джаспера Ли: «Отчаянный головорез, готовый на что угодно. Если предложить хорошую цену, его можно купить с потрохами». Денег, чтобы купить Джаспера Ли, у Лайонела было в избытке; но то были деньги сэра Оливера — деньги, предоставленные в распоряжение Лайонела щедрой рукой старшего брата! И эти деньги он собирался пустить на полную гибель Оливера!

Он проклинал себя, называя гнусной, презренной собакой; проклинал нечистого, нашептывавшего подобные мысли; презирал себя и клял до тех пор, пока не дал зарок быть сильным и встретить любую беду лицом к лицу, нежели пойти на такую низость; но в следующее мгновение эта самая решимость вновь заставляла его содрогаться при мысли о неминуемой виселице.

Внезапно капитан задал ему негромкий вопрос, ставший той искрой, что взорвала все остатки его сопротивления:

— Передали ли вы мое предостережение сэру Оливеру? — спросил он, понизив голос, чтобы не услышал трактирщик, шуршавший за тонкой деревянной перегородкой.

Мастер Лайонел кивнул, нервно теребя жемчужину в ухе и отводя взгляд от грубого, загорелого и заросшего щетиной лица моряка:

— Передал, — ответил он. — Но сэр Оливер упрям как черт. Он не сдвинется с места.

— Вот как? — Капитан погладил густую рыжую бороду и грязно, витиевато выругался на морской манер: — Разрази меня гром! Он вернее верного спляшет джигу в петле, коли останется здесь!

— Да, — выдохнул Лайонел, — если останется.

Он почувствовал, как во рту пересохло; сердце бешено колотилось, хотя удары его слегка притупились хмелем.

Он произнес эти слова с такой странной интонацией, что темные глаза моряка остро прищурились из-под нависших рыжеватых бровей. Во взгляде его вспыхнуло настороженное любопытство. Мастер Лайонел внезапно поднялся:

— Пройдемся, капитан.

Глаза капитана сузились еще больше. Он почуял выгодное дельце. В поведении молодого джентльмена сквозило нечто чертовски подозрительное. Осушив остатки вина, он со стуком опустил оловянную кружку и встал:

— К вашим услугам, мастер Трессилиан.

Выйдя наружу, юноша отвязал коня от железного кольца у коновязи и, ведя его в поводу, зашагал к морю по дороге, вившейся вдоль эстуария к Смитику.

Резкий северный ветер взбивал на воде белые гребни пены; небо сияло холодной лазурью, и солнце слепило глаза. Начинался отлив, и скала в самом узком горле гавани уже вздымала свою черную макушку над волнами. В кабельтове по эту сторону от нее на якоре покачивался черный корпус с обнаженными реями «Ласточки» — корабля капитана Ли.

Лайонел шагал в гробовом молчании, мрачный и задумчивый, все еще колеблясь. И хитрый моряк, угадав эти колебания и желая подтолкнуть юношу ради барыша, который сулило невысказанное предложение, решил проложить дорогу сам:

— Мне сдается, у вас есть ко мне какое-то дело, сэр, — лукаво начал он. — Выкладывайте начистоту: вернее меня слуги вам вовек не сыскать!

— Видите ли, — произнес Лайонел, украдкой косясь на собеседника, — я оказался в весьма затруднительном положении, мастер Ли.

— Бывал я во всяких переделках, — хохотнул капитан, — но еще не встречал такой, из которой не сумел бы выпутаться. Облегчите душу, и, может статься, я помогу вам так же ловко, как привык помогать себе самому.

— Дело вот в чем, — продолжил юноша. — Мой брат непременно угодит на виселицу, как вы верно заметили, если останется здесь. Он погибнет, если дело доведут до суда. А в таком случае, видит Бог, погибну и я! Смертная казнь родича ложится несмываемым позором на всю семью. Это ужасно!

— Еще бы, еще бы! — поддакнул моряк с видом полнейшего сочувствия.

— Я хотел бы вызволить его из этой беды, — продолжал Лайонел, проклиная в душе нечистого, подсовывавшего столь благовидные слова для прикрытия черного предательства. — Я хотел бы вызволить его, и все же совесть не позволяет мне допустить, чтобы он остался вовсе безнаказанным; ибо клянусь вам, мастер Ли, я питаю омерзение к его поступку — подлому, трусливому убийству!

— Ага! — протянул капитан. И опасаясь, как бы этот зловещий возглас не спугнул джентльмена, поспешил добавить: — Само собой! Святая правда!

Мастер Лайонел остановился и повернулся к нему в упор, прижавшись плечом к крупу коня. Они были совершенно одни в самом глухом уголке, о каком только могли мечтать заговорщики. Позади простирался пустынный берег, впереди вздымались красноватые утесы, полого поднимавшиеся к лесистым высотам Арвенака.

— Я буду с вами предельно откровенен, мастер Ли. Питер Годолфин был моим другом. Сэр Оливер — всего лишь мой единокровный брат. Я отдал бы многое человеку, который тайно избавит сэра Оливера от висящей над ним петли, но сделает это так, чтобы сэр Оливер не избежал заслуженного возмездия!

«Как странно, — подумал он в ту же секунду, — что губы мои с такой легкостью произносят слова, к коим сердце питает смертельную ненависть».

Капитан помрачнел. Он ткнул пальцем в бархатный дублет мастера Лайонела — прямо туда, где билось лживое сердце:

— Я к вашим услугам, — отрезал он. — Но риск велик. Впрочем, вы изволили сказать, что отдадите многое...

— Назовите цену сами, — быстро выпалил Лайонел; глаза его лихорадочно блестели, щеки пылали мертвенной бледностью.

— О, я все устрою, не сомневайтесь, — осклабился капитан. — Я до тонкостей понимаю, что вам требуется. Как вам такое: если я переправлю его за море, на плантации, где ох как не хватает работников с такими могучими жилами, как у него? — Он понизил голос и заговорил с легкой опаской, боясь, как бы не предложить лишнего.

— Он может вернуться, — последовал ответ, вмиг рассеявший все сомнения капитана.

— Ага! — протянул шкипер. — А что, если продать его берберийским корсарам? Тем всегда нужны рабы на весла, и они охотно ведут торговлю, хоть и прижимисты на плату. Я еще не слыхивал, чтобы хоть кто-то возвращался, раз уж угодил к ним на галеры! Мне случалось вести с ними дела: выменивал живой товар на пряности, восточные ковры да шелка.

Мастер Лайонел тяжело перевел дух:

— Это ужасная участь, не так ли?

Капитан погладил бороду:

— Зато единственно надежная! Да и в конце концов, это куда лучше виселицы и уж точно не покроет позором вашу родню. Вы окажете великую услугу и сэру Оливеру, и себе самому!

— Верно, верно! — почти с иступлением воскликнул юноша. — А какова цена?

Моряк переступил с ноги на ногу на своих коротких, кряжистых ногах, и лицо его приняло озабоченный вид:

— Сотня фунтов? — осторожно закинул он удочку.

— По рукам, сто фунтов! — последовал незамедлительный ответ — столь поспешный, что капитан Ли вмиг смекнул, какую глупость сморозил, и поспешил поправить дело:

— То бишь сотня фунтов для меня одного, — не спеша уточнил он. — А ведь есть еще команда: им надо заткнуть глотки за молчание да заплатить за помощь. На это уйдет еще никак не меньше сотни.

Мастер Лайонел задумался на мгновение:

— Столько наличных мне не достать в такой короткий срок. Но слушайте: вы получите сто пятьдесят фунтов звонкой монетой, а остальное — драгоценностями. Вы не останетесь внакладе, обещаю вам! А когда вы вернетесь и принесете весть, что дело сделано в точности так, как условлено, вы получите столько же сверху!

На этом сделка была заключена. Когда же Лайонел перешел к обсуждению подробностей, он убедился, что связался с человеком, знавшим свое ремесло до тонкостей. Единственная помощь, которую шкипер потребовал от мастера Лайонела, заключалась в том, чтобы выманить джентльмена в условленное место поближе к воде. Там Ли будет ждать со шляпкой и надежными молодцами, а остальное можно смело доверить ему.

В голове Лайонела молнией мелькнуло подходящее место. Он повернулся и указал через залив на мыс Трефьюзис и серую громаду Годолфин-Корта, купавшуюся в лучах солнца:

— Вон там, у мыса Трефьюзис, в тени Годолфин-Корта, завтра в восемь часов вечера, когда луны еще не будет. Я сделаю так, чтобы он был там. Но ради вашей жизни — не упустите его!

— Положитесь на меня, — ухмыльнулся мастер Ли. — А деньги?

— Когда он будет надежно заперт у вас в трюме, приходите ко мне в Пенарроу, — ответил юноша, показав тем самым, что все же доверяет мастеру Ли ровно настолько, насколько вынужден.

Капитан остался вполне доволен. Ибо если его наниматель вздумает сплутовать и не заплатит, он всегда сможет высадить сэра Оливера обратно на берег.

На том они и распрощались. Лайонел вскочил в седло и поскакал прочь, а мастер Ли сложил ладони рупором и зычно окликнул корабль.

Пока он стоял на берегу, дожидаясь отвалившей от борта шлюпки, широкая ухмылка медленно расползлась по грубому лицу авантюриста. Увидь ее мастер Лайонел, он, возможно, задумался бы: насколько безопасно заключать подобные сделки с негодяем, который держит слово лишь до тех пор, пока это сулит выгоду?

А в этом деле мастер Ли видел верный способ нарушить слово с превеликим барышом. У него не было совести, но он обожал — как обожают все мошенники — обвести вокруг пальца мошенника более благородного сословия. Он собирался сыграть с мастером Лайонелом самой изящной, в самой поэтичной крапленой картой; и при мысли об этом корсар от души тихонько посмеивался в усы.

Глава VII

Западня

Большую часть следующего дня мастер Лайонел отсутствовал в Пенарроу под предлогом каких-то покупок в Труро. Было около половины восьмого вечера, когда он вернулся; переступив порог, он столкнулся в холле с сэром Оливером.

— У меня для тебя весть из Годолфин-Корта, — объявил он и увидел, как брат замер, а лицо его переменялось в цвете. — У ворот меня встретил мальчишка-слуга и велел передать, что мистресс Розамунда просит тебя незамедлительно прибыть к ней для разговора.

Сердце сэра Оливера сперва оборвалось, а затем бешено заколотилось. Она зовет его! Быть может, ее вчерашняя непреклонность растаяла? Наконец-то она согласилась выслушать его!

— Будь ты благословен за эту добрую весть! — воскликнул он в величайшем волнении. — Я иду сию же минуту!

И он немедленно выбежал из дому. В порыве этой горячечной спешки он даже не вспомнил о пергаменте — своем неопровержимом защитнике. И это упущение оказалось роковым.

Мастер Лайонел не проронил ни слова, когда брат вихрем вылетел за дверь. Он лишь глубже вжался в тень. Он был белым как полотно и задыхался. Едва дверь захлопнулась, юноша судорожно дернулся: он порывался броситься вдогонку за сэром Оливером. Совесть кричала во весь голос, что он не может совершить подобное предательство! Но Страх мгновенно заглушил этот вопль: если он не позволит задуманному свершиться, он поплатится собственной жизнью.

Он отвернулся и на непослушных, дрожащих ногах поплелся в столовую.

Стол был накрыт к ужину — точь-в-точь как в ту памятную ночь, когда он, шатаясь, ввалился в комнату с раной в боку, чтобы найти здесь приют и заботу сэра Оливера. К столу он не притронулся; он подошел к очагу и сел, протянув руки к пылающему огню. Его бил жестокий озноб, дрожь невозможно было унять. Зубы выбивали дробь.

Вошел Николас узнать, не подавать ли ужин. Лайонел дрожащим голосом ответил, что, несмотря на поздний час, подождет возвращения сэра Оливера.

— Неужто сэр Оливер ушли со двора? — удивился старый слуга.

— Он вышел минуту назад, не знаю куда, — отозвался Лайонел. — Но раз он еще не ужинал, то вряд ли задержится надолго.

Отослав слугу, он остался сидеть, сгорбившись у камина, во власти душевных мук, которые не поддавались никакому контролю. Мысли его неотступно возвращались к неизменной, беззаветной преданности, коей сэр Оливер осыпал его всю жизнь. В этой самой истории с гибелью Питера Годолфина — на какие только жертвы не пошел сэр Оливер, чтобы прикрыть его! Вспоминая всю эту безграничную любовь и самоотверженность, Лайонел готов был уверить себя, что даже перед лицом смертельной опасности брат никогда не выдаст его.

Но тут же подлая жилка страха, превращавшая его в негодяя, нашептывала: рассуждать так — значит строить замки на песке; доверяться подобным догадкам смертельно опасно; и если в решающий миг сэр Оливер все же дрогнет, то он, Лайонел, погибнет безвозвратно.

В конечном счете человек судит о ближних по себе самому; а Лайонел, зная, что сам он не способен ни на какую жертву ради сэра Оливера, не мог поверить, что старший брат станет бесконечно нести непосильное бремя. Он вновь вспомнил слова, сказанные сэром Оливером в этой самой комнате две ночи назад, и еще тверже убедился, что они могли иметь лишь одноединственное толкование.

Затем пришли сомнения, а следом — иная уверенность: уверенность в том, что все это самообман, и он прекрасно знает об этом; уверенность в том, что он бессовестно лжет самому себе, пытаясь оправдать черное предательство. Он обхватил голову руками и глухо застонал.

Он негодяй, бессердечный, бездушный негодяй! Он вновь принялся поносить себя последними словами. Наступил миг, когда он с содроганием вскочил на ноги, готовый даже в этот последний час броситься вслед за братом и спасти его от участи, ожидавшей того в ночной тьме.

Но и этот порыв мгновенно увял под ледяным дыханием эгоистического страха. Бессильно опустившись обратно в кресло, он позволил мыслям свернуть на иную колею. Он вспомнил все то, о чем размышлял в тот день, когда сэр Оливер скакал в Арвенак требовать сатисфакции от сэра Джона Киллигру. Он вновь осознал: стоит Оливеру исчезнуть — и все то, чем он сейчас пользуется из милости брата, перейдет в его безраздельное, законное владение. Эта мысль принесла ему некое утешение. Если уж ему суждено страдать за свою подлость, пусть за нее хотя бы будет приличная награда.

Часы над конюшней пробили восемь. Мастер Лайонел вжался в спинку кресла при этом звуке. Дело совершалось прямо сейчас. В воображении он отчетливо видел всю картину: вот брат в нетерпении подбегает к воротам Годолфин-Корта, и вдруг из окружающей тьмы бесшумно вырастают темные тени и валят его на землю. Он видел, как Оливер яростно бьется на земле, а затем, связанного по рукам и ногам, с кляпом во рту, его быстро тащат вниз по склону к берегу — к ждущей шлюпке.

Еще полчаса просидел он в кресле. Теперь все было кончено, и эта уверенность принесла подобие покоя.

Снова явился Николас, запричитав о том, что с хозяином наверняка стряслась какая-то беда.

— Какая еще беда могла с ним стрястись? — проворчал Лайонел, словно насмехаясь над самой мыслью об этом.

— Упаси Господь, конечно, — ответил старик. — Да только у сэра Оливера нынче врагов не счесть, и не след ему бродить впотьмах одному.

Мастер Лайонел с презрением отмахнулся. Для виду он объявил, что больше не станет ждать; Николас подал ужин и вновь оставил его, отправившись бродить у дверей, вглядываясь в ночную тьму и прислушиваясь к каждому шороху. Он уже сходил на конюшню и знал, что сэр Оливер ушел пешком.

Лайонелу пришлось сделать вид, будто он ест, хотя кусок застревал у него в горле. Он размазал еду по тарелке, раскрошил хлеб и жадно осушил кубок кларета. Затем, изобразив растущую тревогу, вышел в холл к Николасу. Так они провели томительную ночь, дожидаясь возвращения того, о ком мастер Лайонел твердо знал: он не вернется больше никогда.

На рассвете подняли слуг и разослали их по всей округе разносить весть об исчезновении сэра Оливера. Сам Лайонел поскакал в Арвенак, дабы напрямик спросить сэра Джона Киллигру, не знает ли тот чего-нибудь об этом происшествии.

Сэр Джон искренне изумился, но тут же поклялся, что не видел сэра Оливера уже несколько дней. Он обошелся с Лайонелом в высшей степени ласково: рыцарь любил юношу, как любили его все вокруг. Юноша был столь кроток и мягкосердечен, столь разительно отличался от надменного, буйного брата, что его достоинства сияли на этом фоне еще ярче.

— Признаю, вполне естественно, что вы пришли ко мне, — произнес сэр Джон. — Но даю слово чести: я ничего о нем не знаю. Не в моих правилах нападать на врагов из-за угла во тьме.

— Конечно, конечно, сэр Джон! Я и в мыслях не держал ничего подобного! — ответил убитый горем Лайонел. — Простите, что я вообще дерзнул задать столь недостойный вопрос! Спишите это на мое душевное расстройство. Я сам не свой все эти месяцы, с той самой трагедии в Годолфин-парке. Это невыносимо тяготит меня. Ужасно знать, что твой родной брат — хотя я благодарю Бога, что он мне лишь единокровный, — повинен в столь чудовищном злодеянии!

— Что?! — в изумлении воскликнул Киллигру. — Вы так говорите? Вы сами верите в его вину?

Мастер Лайонел смутился, и сэр Джон совершенно превратным образом истолковал это смущение — исключительно в пользу молодого человека. Именно в то мгновение было посеяно щедрое зерно той дружбы, что вскоре расцветет меж ними, возвращенная жалостью сэра Джона к столь благородному, честному юноше, проклятому столь злодейским братом.

— Понимаю, понимаю, — вздохнул Киллигру. — Вам известно, что со дня на день мы ждем повеления королевы ее мировым судьям начать судебное преследование, в коем они до сих пор отказывали... преследование сэра Оливера. — Он задумчиво нахмурился: — Как вы полагаете, сэр Оливер мог проведать об этом?

Мастер Лайонел мгновенно уловил ход мыслей собеседника:

— Он знал об этом, — ответил он. — Я сам передал ему эту весть. Но почему вы спрашиваете?

— Разве это не объясняет внезапное исчезновение сэра Оливера? Помилуй Бог! Зная это, он был бы круглым дураком, останься он здесь, ибо с прибытием королевского гонца виселицы ему не миновать!

— Господи Иисусе! — выдохнул Лайонел, вытаращив глаза. — Вы... вы думаете, он бежал?

Сэр Джон пожал плечами:

— А что еще остается думать?

Лайонел понурил голову:

— И впрямь, что же еще? — пробормотал он и откланялся с видом человека, совершенно раздавленного горем — каковым он, в сущности, и был. Он даже не предполагал, что столь очевидный вывод сам собой увенчает его козни, разом объяснив случившееся и развеяв любые сомнения.

Он вернулся в Пенарроу и без обиняков пересказал Николасу догадку сэра Джона, добавив, что и сам опасается худшего: сэр Оливер попросту подался в бега.

Впрочем, убедить старого слугу оказалось не так-то просто.

— Да неужто вы верите, будто он это сделал? — вскричал Николас. — Неужто верите, мастер Лайонел?! — В голосе старика звучал упрек, граничивший с ужасом.

— Бог свидетель, во что же еще мне верить теперь, когда он сбежал?

Николас подошел к нему вплотную, сжав губы. Он положил два узловатых пальца на рукав молодого хозяина:

— Не сбежал он, мастер Лайонел, — веско и грозно произнес старик. — Не из беглых наш сэр Оливер! Он ни человека, ни черта сроду не боялся, и кабы убил мастера Годолфина — ввек бы не стал отпираться! Не верьте сэру Джону Киллигру. Сэр Джон завсегда его лютой ненавистью ненавидел!

Однако во всей округе старый слуга остался единственным, кто держался подобного мнения. Если где-то еще и теплились сомнения в виновности сэра Оливера, бегство перед лицом ожидавшегося королевского указа рассеяло их окончательно.

Позже в тот же день в Пенарроу явился капитан Ли, справляясь о сэре Оливере.

Николас доложил о его приходе мастеру Лайонелу, и тот велел впустить гостя.

Коренастый моряк ввалился в комнату на кривых ногах и, едва они остались одни, глумливо ухмыльнулся нанимателю:

— Он в целости и сохранности на борту, — объявил капитан. — Сработано чистенько, как яблочко очистить, и тихохонько.

— Зачем вы спрашивали о нем у слуги? — нахмурился мастер Лайонел.

— Зачем? — Джаспер снова осклабился. — Так у меня ж к нему дело было! Мы ведь толковали о том, чтоб ему со мной в плавание податься. Я слыхал, о чем в Смитике болтают.

Вот мой визит и придется в самую масть! — Он прижал палец к носу: — Уж доверьтесь мне, я толк в добрых сказочках знаю. Глупо было бы явиться сюда и спрашивать вас, сэр. Теперь будете знать, как объяснить людям мой приход.

Лайонел выплатил ему условленную сумму и отпустил восвояси, получив твердое заверение, что «Ласточка» выйдет в море с ближайшим приливом.

Когда же по округе разнеслась весть о том, что сэр Оливер вел переговоры с мастером Ли о бегстве за море и капитан медлил с отплытием лишь ради этого, даже Николас начал колебаться.

Шли дни, и к Лайонелу постепенно возвращалось душевное спокойствие. Что сделано, то сделано; в любом случае прошлого не воротить, и раскаиваться не имело смысла. Он и не подозревал, как щедро судьба подыгрывает ему — как порой она подыгрывает отпетым негодяям.

Королевские глашатаи прибыли шестью днями позже, и мастер Бейн получил суровое предписание немедленно явиться в Лондон, дабы дать отчет в нарушении долга и отказе исполнять присягу. Проживи сэр Эндрю Флэк на месяц дольше — а не умри от простуды, унесшей его в могилу, — судья Бейн в два счета разбил бы все обвинения. Теперь же, когда он поведал об осмотре тела, на который сэр Оливер пошел добровольно, его одинокое свидетельство никого не убедило. Высокий суд счел это признание жалкой уловкой чиновника, пренебрегшего долгом и пытающегося спасти собственную шкуру. А то обстоятельство, что в свидетели он призывал покойника, лишь окончательно укрепило судей в их мнении.

Его лишили должности, обложили непомерным штрафом — и на этом дело кончилось, ибо объявленный розыск так и не обнаружил ни малейших следов сгинувшего сэра Оливера.

Для мастера Лайонела с того дня началась совсем иная жизнь. Видя в нем безвинного страдальца за грехи старшего брата, вся округа окружила его искренней заботой. Особо подчеркивалось то, что он приходится сэру Оливеру всего лишь единокровным братом; иные доходили в своем сочувствии до предположений, что он, быть может, не приходится ему даже этим — вполне естественно, мол, если вторая жена Ральфа Трессиана отплатила мужу той же монетой за его бесчисленные измены.

Эту волну всеобщего сочувствия возглавил сам сэр Джон Киллигру, и она разрослась столь стремительно, что очень скоро мастер Лайонел почти уверовал, будто заслужил все эти почести по праву, и принялся нежиться в лучах благосклонности края, доселе выдававшего людям крови Трессианов одну лишь враждебность.

Глава VIII

Испанец

«Ласточка», выдержав яростный шторм в Бискайском заливе — шторм, который она одолела со стойкостью на редкость надежной старой посудыны, — обогнула мыс Финистерре и вынырнула из бури в тишину, из свинцовых туч и вздымающихся волн в залитый солнцем лазурный покой. Это походило на внезапный скачок из зимы в весну, и теперь судно шло в бейдевинд под ласковым восточным бризом, слегка накренившись на левый борт.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.